

Роберт Кана

СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА



Robert Capa
SLIGHTLY OUT OF FOCUS

РОБЕРТ КАПА
СКРЫТАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

ПРЕДИСЛОВИЕ
КОРНЕЛЛА КАПЫ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
РИЧАРДА УЭЛАНА

Издательство
КЛАУДБЕРРИ
Санкт-Петербург

УДК 77.044
ББК 185.63(0)
К20

РОБЕРТ КАПА

На титуле: БЛИЗ ТРОИНЫ, СИЦИЛИЯ, 4—5 августа 1943 года. Американские войска идут к стратегически важному городку на холме. Немцы удерживали его, чтобы выиграть время в ожидании эвакуации с острова большей части войск. Через городок проходит главная дорога на Мессину, откуда германская армия на паромках переправлялась на материк, в Италию.

*Перевод с английского
Владимира Шраги*

Капа Р.

К20 Скрытая перспектива. — Пер. с англ. — СПб.: Клаудберри, 2011. — 280 с.
ISBN 978-5-903974-03-0

Перед вами первое издание на русском языке классических мемуаров, посвященных Второй мировой войне. Их написал Роберт Капа, один из величайших фотографов мира. Он приехал в Европу в 1941 году в качестве фотокорреспондента и четыре следующих года странствовал по охваченному войной континенту. Он документировал происходящее таким, каким его видели люди, служившие в союзных войсках и ставшие для Капы друзьями, умевшими и развеселить, и помочь. Его фотографии бесценны, а воспоминания, при всей их хулиганской веселости, безумно трогательны. В издание включено более ста фотографий, среди которых легендарные снимки высадки в Нормандии. Это захватывающая и глубокая книга, в которой гениальным образом фотография переплетается со словом.

ISBN 978-5-903974-03-0

- © Вступительное слово и биографическая справка.
Ричард Уэлан, с разрешения Нэнси Паррелла, 1999
- © Предисловие, подбор фотографий, текст. Корнелл Капа,
с разрешения Estate of Cornell Capa / International Center
of Photography, 1999
- © Перевод и издание на русском языке.
Издательство «Клаудберри»
(ООО «Морошка», NONIUS GROUP), 2011

Роберт Капа был фотографом пяти войн: Гражданской в Испании (1936—1939), китайского сопротивления японскому вторжению (он снимал его в 1938 году), европейского театра военных действий Второй мировой (1941—1945), первого арабо-израильского конфликта (1948) и Индокитайской войны (1954). Никто и никогда не снимал вооруженные конфликты столь отважно и с таким состраданием.

Его настоящее имя — Эндре Фридман. Родился он 22 октября 1913 года в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Его родители были владельцами модного ателье. В 1918 году у Эндре появился брат Корнель, ставший впоследствии фотографом и взявший имя Корнелл Капа.

В мае 1931 года семнадцатилетнего Эндре арестовали за участие в студенческих выступлениях против протофашистского режима адмирала Миклоша Хорти. В тюрьме он провел одну ночь, после чего стараниями супруги начальника полиции (постоянной клиентки ателье Фридманов) его удалось вызволить с условием, что после сдачи выпускных экзаменов в школе он покинет страну. В июле Эндре уехал в Берлин. Той же осенью он поступил в Академию политики на отделение журналистики. О фотожурналистике он тогда еще не думал. Однако вскоре началась Великая



депрессия, и родители Фридмана оказались не в состоянии оплачивать учебу сына, поэтому ему пришлось уйти из академии. Он попытался найти через своих венгерских друзей работу в Берлине, и довольно быстро его пристроили курьером в знаменитое фотожурналистское агентство «Dephot». Через некоторое время он получил повышение и стал ассистентом в фотолаборатории, а затем — учеником фотографа.

В ноябре 1932 года агентство отправило Эндре в Копенгаген. Он должен был снять лекцию, которую читал датским студентам Лев Троцкий, на тот момент уже высланный из СССР и лишенный советского гражданства. Фотографии, сделанные во время этой поездки, были опубликованы и имели большой успех, но сразу извлечь из этого выгоду Эндре не мог: в марте 1933 года к власти в Германии пришел Гитлер, и Фридман был вынужден бежать из страны. Власти Венгрии разрешили ему вернуться в Будапешт, откуда осенью того же года он переехал в Париж. Там, в кафешках Монпарнаса, он подружился с фотографами Андре Кертешем, Дэвидом Сеймуром (Чимом) и Анри Картье-Брессоном.

Осенью 1934 года Эндре встретил Герду Похорилле — еврейку, бежавшую из Германии. Они влюбились друг в друга и вскоре стали жить вместе. Она печатала ему подписи к фотографиям и устроилась работать в агентство, с которым сотрудничал Эндре. А он, в свою очередь, учил ее обращаться с фотокамерой.

Весной 1936 года, столкнувшись с тем, что фотографии Фридмана почти перестали продаваться, Эндре и Герда решили выдумать успешного американского фотографа Роберта Капу. Герда ходила по редакциям журналов, показывала фотографии Эндре и говорила, что их автор — Роберт Капа. Она намекала при этом редакторам, что оказывает им большую честь, предоставляя возможность приобрести снимки знаменитого гения. Впечатленные, издатели покупали и печатали эти фотографии.

«Капа», скорее всего, получился из Фрэнка Капры, голливудского режиссера, чья картина «Это случилось однажды ночью» с Кларком Гейблом и Клодетт Колбер не только была призна-

на Академией киноискусства лучшим фильмом 1934 года, но и получила Оскаров за лучшую режиссуру и лучшее исполнение главных ролей. «Роберт» тоже пришел из кино. Робертом Тейлором звали актера, который в 1936 году сыграл любовника Греты Гарбо в фильме «Дама с камелиями». Сменить фамилию решила и Герда. Из Похорилле она превратилась в Таро, назвавшись так в честь молодого японского художника Таро Окамото, который жил в то время в Париже.

Довольно быстро к выдуманному Роберту Капе пришла настоящая слава. Когда публике стало известно о подмене, Эндре понял, что ему теперь придется принять это имя и соответствовать образу гениального фотографа.

В августе 1936 года двадцатидвухлетний Капа начал с предельной тщательностью и страстностью освещать ход Гражданской войны в Испании. Именно во время этой, самой первой своей поездки на фронт он сделал знаменитый снимок «Смерть республиканца», на котором изображен падающий на землю испанский лоялист, смертельно пораженный пулей. Фотография обошла весь мир.

Герда Таро в то время работала вместе с Капой в Испании, постепенно становясь независимым фотожурналистом. В июле 1937 года Капа вернулся по делам в Париж, а Герда осталась в Мадриде. Она снимала битву в Брунете, к западу от Мадрида. Республиканцы начали отступать. В хаосе и неразберихе танк лоялистов врезался в грузовик с ранеными, в котором ехала Герда. В этой аварии она погибла. Капа, намеревавшийся на ней жениться, до конца жизни так и не смог оправиться от постигшего его несчастья.

Капа не мог вернуться на войну, в которой погибла его возлюбленная, и провел шесть месяцев 1938 года в Китае, вместе с голландским режиссером Йорисом Ивенсом снимая сопротивление японскому вторжению, начавшееся годом ранее. Поскольку Япония была союзницей Германии, война в Китае воспринималась как восточный фронт международной битвы с фашизмом, тогда как Испания была ее западным фронтом.

Осенью того же года Капа все-таки вернулся в Испанию, чтобы снять отправку на фронт интернациональных бригад. После этого он фотографировал битвы при Мора-де-Эбро и Рио-Сегре на арагонском фронте. В декабре престижный британский журнал «Picture Post» опубликовал четыре разворота батальных снимков 25-летнего Капы и назвал их автора «величайшим военным фотографом в мире».

Вскоре после окончания Второй мировой войны Капа со своими друзьями Анри Картье-Брессоном, Чимом, Джорджем Роджером и Уильямом Вандивертом основали фотоагентство «Magnum». Все последующие годы Капа значительную часть своего времени будет посвящать руководству отделениями агентства в Париже и Нью-Йорке. С наибольшим энтузиазмом он привлекал в агентство молодых фотографов: считал их своей второй семьей, выбивал для них заказы, вдохновлял и учил их, давал в долг деньги и водил на обеды и вечеринки.

Даже после получения в 1946 году американского гражданства Капа до конца сороковых — начала пятидесятых жил в Париже. Он проводил время на ипподромах, развлекался в ночных клубах с красивыми женщинами, ночи напролет играл в покер с друзьями, среди которых были, например, Джон Хастон и Жан Келли.

В конце сороковых Капа с друзьями-писателями работал сразу над несколькими проектами. Летом 1947 года в течение месяца он с Джоном Стейнбеком путешествовал по Советскому Союзу. Результатом их совместного творчества стала книга «Русский дневник». Годом позже журнал «Holiday» направил Капу и журналиста Теодора Х. Уайта в Венгрию и Польшу, а в 1949 году вышла книга «Репортаж об Израиле», созданная совместно с писателем Ирвином Шоу.

В апреле 1954 года Капа провел три недели в Японии в качестве гостя издательства «Mainichi Shimbun», помогая в запуске нового фотографического журнала. В Токио, Осаке, Киото — по всей стране он снимал японских детей. Находясь в Японии, он

согласился поехать на месяц в Индокитай, чтобы подменить там репортера журнала «Life», которому необходимо было срочно вернуться в США. 25 мая Капа отправился с французскими военными эвакуировать людей из двух незащищенных фортов в дельте Хонгха (Красной реки). Во время привала он отошел на несколько шагов от дороги, чтобы снять группу французских солдат, наступил на противопехотную мину и погиб.

В статье, сопровождавшей посмертную подборку работ Капы в журнале «Popular Photography», Джон Стейнбек писал: «Капа знал, что искать и что делать с находками. Он понимал, например, что невозможно сфотографировать войну, потому что война — это прежде всего внутреннее состояние, эмоция. Но он снимал проявления этого внутреннего состояния. Например, тот ужас, который испытывал целый народ, он показывал отображенным на лице ребенка. Его камера выхватывала и удерживала эмоции».

Работы Капы пронизаны великодушием и невероятным состраданием. Никто не сможет заменить его. Уход из жизни любого художника — это всегда невосполнимая потеря. Но нам повезло: у нас останутся снимки, в которые вложена душа этого человека.

Я много работал и путешествовал с Капой. Может, у него и были более близкие друзья, но едва ли кто-нибудь любил его сильнее, чем я. Ему нравилось делать вид, будто он легкомысленно относится к своей работе. На самом деле это было не так. У него нет случайных фотографий, неслучайны и запечатленные на снимках эмоции. Он умел снимать и движение, и радость, и горе. Его фотоаппарат мог улавливать мысль. Он запечатлел мир. Мир Роберта Капы».

Во время похорон Капы Эдвард Стейхен сказал: «Он понимал жизнь. И проживал ее энергично. Он щедрой рукой отдавал миру все, что у него было... [Он] жил яростно и решительно. Это была удивительно цельная личность».

Ричард Уэлан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Корнелл Капа

Мой брат Роберт Капа дал сам себе задание рассказывать об аде, созданном человеком. Он сочувствовал всем, кто пострадал из-за войн, в его фотографиях навсегда останутся запечатленными не только исторические события, но и испытания, выпавшие на долю отдельных людей.

В течение нескольких десятилетий он был свидетелем нескончаемых трагедий. Откуда он черпал силы? Его спасало потрясающее чувство юмора и легкомысленное отношение к опасностям, которые его подстерегали повсюду. Это всегда было стержнем его личности и его работ. В своей книге он так описывает день начала нормандской операции:

«Военный корреспондент может сделать ставку (а ставка — жизнь) на какого угодно скакуна, а может в последний момент вообще забрать ее обратно. Я игрок. Я решил отправиться вместе с первыми солдатами роты “Е”».

Принимая это решение, он действовал согласно принципу, который он проповедовал среди коллег-фотографов: «Если твои снимки недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко». Но за всеми шутками, иронией и бравадой скрывалась исключительно чувствительная натура, и это отлично видно, например, по такому его высказыванию: «Очень трудно постоя-

но стоять в стороне и быть способным только документировать страдания».

Жизнь Роберта Капы — это гимн преодолению трудностей, готовности к испытаниям, фортуна азартного игрока, которая изменила ему всего один раз, когда он наступил на мину во Вьетнаме и тем самым закончил играть роль свидетеля драмы. Его детство не располагало к скитаниям, на его родном языке невозможно изъясняться за пределами маленькой Венгрии, но, несмотря на это, он смог прочувствовать весь мир и рассказать нам о нем при помощи универсального языка фотографии.

Он недолго пробыл с нами, но все отпущенное ему время он жил и любил. Он никогда не стремился к богатству, но оставил богатое наследство всему человечеству, запечатлев историю своих уникальных странствий, создав визуальное свидетельство веры в способность человека терпеть и иногда преодолевать.

*Нью-Йорк
Апрель 1999*

КОРНЕЛЛ КАПА — младший брат Роберта. Выдающийся фотожурналист, сотрудничал с журналом «Life» и агентством «Magnum Photos». В 1974 году он создал Международный центр фотографии в Нью-Йорке и до 1994 года был его директором, после выхода на пенсию став почетным директором-основателем. Умер в США в 2008 году в возрасте 80 лет.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Ричард Уэлан

Одаренный подросток из Будапешта, которого мир однажды узнал под именем Роберта Капы, вовсе не собирался становиться фотографом. Он мечтал стать писателем и журналистом. В фотографию он пришел случайно, это не был осознанный выбор. Так сложились обстоятельства.

Даже после того как гениальные фотографии из Испании, Китая и с фронтов Второй мировой сделали Капу самым знаменитым фотожурналистом, он не оставлял надежды стать «писателем, умеющим фотографировать», а не наоборот. Радости его не было предела, когда в 1947 году он увидел надпись «текст Роберта Капы, с фотографиями автора» на клапане суперобложки (но еще не на самой обложке) книги «Скрытая перспектива». Позже эта надпись сопровождала его милые и забавные статьи в журнале «Holiday», посвященные альпийским лыжным курортам, вечеринкам и другим развлечениям в веселых местечках типа Довиль и Биарриц, а также путешествиям и приключениям в самых разных странах, от Норвегии до Венгрии.

Поскольку большинство экземпляров той книги 1947 года издания давно уже потеряли свою суперобложку, мало кто знает о том, какая надпись была на ней напечатана. Она гласила: «Поскольку писать истину тяжело, я, в ее же интересах, поз-

волил себе от нее слегка уклоняться в ту или иную сторону. Все лица и события случайны и имеют кое-какое отношение к истине».

Такое предупреждение было необходимо по одной простой причине: Капа вовсе не претендовал на написание исторического документа. Он хотел, чтобы по его книге можно было снять кино. Большинство приведенных в ней рассказов абсолютно правдивы, но Капа изменил имена многих действующих лиц, ускорил ход некоторых событий, неточно описал второстепенные детали. Например, во втором предложении первой главы Капа говорит, что его квартира была на «верхнем этаже небольшого трехэтажного здания на Девятой стрит». На самом деле она располагалась на верхнем этаже пятиэтажного особняка на Девятой стрит в районе Западных 60-х улиц. Можно предположить, что таким описанием Капа решил облегчить жизнь голливудским специалистам, поскольку трехэтажный дом лучше соответствует киношному образу Гринвич-Вилдж.

Капа был прирожденным рассказчиком. Травить байки в кругу друзей и даже незнакомых людей было одним из любимейших его занятий. Когда были важны точные детали, он их честно описывал. Но если слушателям было все равно, он мог и приукрасить историю, чтобы сделать ее посмешнее.

Лишь недавно удалось доказать, что как фотожурналист Капа был честен и объективен. Дело в том, что один престарелый британский журналист, на чью память в силу его возраста полагаться было уже нельзя, объявил, что знаменитый снимок «Смерть республиканца» был сделан во время тренировки, а не в бою. Однако, во-первых, Капа был далеко от мест, про которые написал этот журналист. А во-вторых, испанские историки подтвердили, что Федерико Боррелл Гарсиа, изображенный на фотографии и узанный его родственниками, был застрелен ровно там, где был сделан снимок, — рядом с деревней Черро Мур, в нескольких милях к северу от Кордовы, и в тот же день — 5 сентября 1936 года.



Путешествие, описываемое Капой в первой главе книги, было уже не первой его трансатлантической поездкой в Британию. Аналогичный путь он проделал в 1941 году, чтобы вместе с Дианой Форбс-Робертсон (с ней он познакомился в Испании) поработать над книгой «Битва при Ватерлоо-роуд», в которой описывается, как жители Ист-Энда выживали во время блицкрига. Дина (так звали ее друзья) была дочерью великого актера сэра Джонстона Форбс-Робертсона и женой известного журналиста Винсента (Джимми) Шона, автора бестселлера «Личная история». Сестрой Дины была леди Максин Форбс-Робертсон по прозвищу «Бутончик». В книге Капа называет ее «Цветочком». Вторым мужем Максин в 1932 году стал Фредерик Джордж Майлс, владелец авиашколы. Бутончик и сама была знатоком и любителем авиации, поэтому вскоре она вместе с мужем стала работать над проектом нового самолета под названием «Hawk». Машина получилась очень удачная: она была быстрее, комфортнее и дешевле своего предшественника — «Naviland Moth». Потом пришла война, а с ней и военные заказы. К началу сороковых на авиастроительном заводе Майлса трудились 6000 человек.

Летом 1941 года Дина и Джимми часто вместе с Капой ездили на выходные к Майлсам. В 1942 году Капа возобновил эту дружбу и стал сам навещать к Максин и ее мужу, поэтому нет ничего удивительного в том, что в середине февраля 1943 года он заехал к ним по пути в Лондон.

Одним из гостей Майлса в те выходные был Джон Джастин — красавчик актер с англо-аргентинскими корнями, сыгравший свергнутого короля Ахмада в замечательном фильме Александра Корды «Багдадский вор». После этого фильма он на некоторое время оставил кинематограф и стал пилотом ВВС Великобритании. Джастин был со своей очаровательной 25-летней женой Элен, удивительная красота, женственность, сексуальность и шикарная золотисто-розовая шевелюра которой очень впечатлили Капу. Он дал ей прозвище «Пинки». Ее союз с Джоном был явно на грани распада, но они все же еще не были разведены.

Как вспоминала впоследствии Пинки, они с Капой «взглянули друг на друга — и между ними пробежала искра». О романе с этой женщиной Капа рассказывает в своей книге, возвращаясь к этой теме снова и снова, даже тогда, когда вспоминает о военных событиях.

Пинки в конце концов вышла замуж за Чака Ромайна, который упоминается в книге под именем Криса Скотта. Война в Европе закончилась, Пинки ушла к другому, и в течение нескольких недель Капа, по его собственному признанию, вообще не понимал, «зачем по утрам подниматься с постели». Вскоре, однако, у него появился отличный повод подняться с постели — роман с Ингрид Бергман, которая приехала в Европу, чтобы выступить перед американскими военными.

Когда Ингрид пришло время возвращаться, они с Капой решили, что он отправится вслед за ней в Голливуд, что и произошло в декабре 1945 года. Капа не чувствовал себя совсем чужим в этом городе, потому что за время войны успел обзавестись множеством голливудских друзей, среди которых были, например, режиссеры Джон Хастон, Джордж Стивенс, Уильям Уайлер, Ирвинг Райс, Анатолий Литвак и Билли Уайлдер. Литвак через некоторое время в шутку пожаловался: «Капа провел здесь всего две недели, а его уже зовут на такие вечеринки, куда я смог попасть лишь после того, как прожил тут десять лет!»

В январе 1946 года Уильям Гетц, глава кинокомпании «International Pictures», пригласил Капу на должность сценариста и ученика режиссера-продюсера, предложив большую, но не облачную зарплату — 400 долларов в неделю. Его задачей было написать мемуары о войне, которые можно было бы взять за основу сценария (еще в 1941 году Капа начал писать короткие автобиографические рассказы, это было в Солнечной долине в штате Айдахо; оттачивать стиль ему тогда помогал Эрнест Хемингуэй). Кроме того, он должен был присутствовать на съемочных площадках, в монтажных и на показах классических кинолент. Но



довольно быстро стало понятно, что такое количество скучных обязанностей не дает сконцентрироваться на написании книги.

Больше всего Капу раздражало то, что он почти не виделся с Бергман, зато постоянно сталкивался с ее ревнивым супругом (им был доктор Петтер Линдстром, с которым Ингрид мечтала развестись) и вездесущими корреспондентами, пристально наблюдавшими за ее жизнью. Так продолжалось до тех пор, пока Хичкок не приступил к съемкам «Дурной славы» с Бергман и Грантом в главных ролях, — тогда у Капы появилось законное основание для частых встреч с ней.

Когда Бергман подняла вопрос о женитьбе, Капа сказал ей, что он не видит для себя будущего в Голливуде, хочет вернуться в фотожурналистику и потому не может связывать себя узами брака: женившись, он не будет чувствовать себя вправе ездить на опасные задания, которые были его специальностью. Понятно, что и Бергман не могла сопровождать Капу в его поездках. Все это она изложила Хичкоку, который был ей как исповедник, а тот через несколько лет включил эту историю в фильм «Окно во двор», где Джимми Стюарт играет фотожурналиста, отказавшегося (конечно, в более грубой форме, чем Капа) принять руку и сердце топ-модели (ее сыграла Грейс Келли).

В середине июня 1946 года во время поездки в Нью-Йорк Капа подписал с издателем Генри Хольтом контракт на публикацию своих военных мемуаров, над которыми он наконец стал усердно трудиться. Впрочем, дата выхода книги была назначена на 15 августа того же года, что казалось совершенно нереальным. Капа вернулся в Голливуд, чтобы понять, может ли их роман с Бергман продолжаться без женитьбы. Он уже не работал на «International Pictures» и рассчитывал засесть за написание книги, однако вместо этого целыми днями околачивался на съемочной площадке нового фильма «Триумфальная арка» с Ингрид в главной роли и фотографировал. Вечера он проводил в компании Бергман и ее веселых друзей.

Тем же летом, наблюдая, как его друг Чарльз Корвин репетирует свою роль для фильма «Искушение», Капа сказал ему, что он мог бы сыграть слугу-египтянина Хамзу лучше, чем приглашенный на эту роль натуральный египтянин. Основная задача этого персонажа во время его кратких появлений в кадре состояла в том, чтобы кланяться и пятиться. Еще он должен был произнести несколько слов на тарабарском языке. При этом лицо героя было почти неразличимо из-за темного загара. Режиссер Ирвинг Пичел решил, что акцент Капы вполне подходит для этой роли и прогнал египтянина.

Этим эпизодом закончилась голливудская карьера Капы, а вместе с ней и роман с Бергман. Вскоре он отправился в Турцию снимать документальный фильм для киножурнала «Марш времени». Этот опыт был не из приятных хотя бы потому, что Капе пришлось ночи напролет корпеть над своей книгой. Все мыслимые сроки сдачи рукописи прошли еще четыре месяца назад, и издатель был в бешенстве. В Анкаре при помощи американского информационного центра он нашел себе помощницу — англоговорящую аспирантку Розетту Авигдор. Она печатала текст под его диктовку. Именно этим объясняется разговорный стиль некоторых глав книги. Последнюю главу Капа отправил Хольту в канун Рождества 1946 года. За время совместной работы он так сильно подружился с Авигдор, что когда она в январе 1947 года собралась в Нью-Йорк, чтобы продолжить обучение в Колумбийском университете, он предложил ей пожить у его мамы. Идея пришлась по душе обеим женщинам. Так Авигдор стала «турецкой сестрой» Капы.

Большинство отзывов о книге «Скрытая перспектива», увидевшей свет весной 1947 года, были лестными. Так, журнал «New Republic» написал, что «вопреки всем традициям военной журналистики Капа говорит о том, что происходило лично с ним, вписывая свой рассказ в канву бурной любовной драмы... Яркое, динамичное, увлекательное повествование». В «New York Herald Tribune Book



Review» оценили «переплетение частной и профессиональной линий, не встречающееся ни в одной из существующих книг о войне и одновременно разоблачительное по отношению ко всем этим книгам». Выше всего, конечно, оценили фотографии Капы. Рецензия, опубликованная в «Philadelphia Inquirer», содержала такие строки: «Как с помощью слов Толстой описал Севастополь, Хемингуэй — Капоретто, Крейн — Гражданскую войну, так Капа описал Вторую мировую при помощи своей фотокамеры».

Самым красноречивым рецензентом оказался молодой лауреат Пулитцеровской премии по имени Джон Херси, с которым Капа подружился на Сицилии в 1943 году. В статье под названием «Человек, который изобрел себя», опубликованной в журнале «47» (век этого журнала оказался, увы, недолог), он написал: «Несмотря на все свои выдумки и некоторое позерство, Капа очень трезво оценивает реальность. Его талант складывается из невероятного гуманизма, смелости, прекрасного вкуса, склонности к романтизму, неприятия сухих методик, потрясающей интуиции и умения расслабляться. В глубине души он немного застенчив. Ему присуще чутье игрока... и хорошее чувство юмора. Он отлично знает, что такое хорошая фотография: “Это тот кусочек события, в котором для постороннего человека содержится больше правды, чем во всей панораме”. Но прежде всего — и мы прекрасно видим это в его работах — Капа, потративший столько энергии на изобретение самого себя, умеет глубоко сопереживать тем, кто попал в ловушку реальности».

*Бруклин, Нью-Йорк
Апрель 1999*

РИЧАРД УЭЛАН — независимый культуролог, автор книги «Роберт Капа. Биография». Совместно с Корнеллом Капой подготовил несколько фотоальбомов Роберта. Другие его работы охватывают широкий спектр тем: от политической истории корейской войны (книга «Проводя линию») до биографии Альфреда Стиглица.

СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА

I

Лето 1942 года

Больше незачем было по утрам подниматься с постели. Моя квартирка была на верхнем этаже небольшого трехэтажного здания на Девятой стрит, с огромным окном во весь потолок и большущей кроватью в углу. На полу стоял телефон. Больше в ней не было ничего, даже часов. Я проснулся от света, бывшего в окна, понятия не имея, который час, и не особо этим вопросом интересуясь. В кошельке затерялась монетка в 5 центов, и это были все мои средства. Я не собирался ничего предпринимать: ждал, когда зазвонит телефон и мне предложат поесть, поработать или хотя бы взять денег в долг. Телефон, однако, молчал. Зато не молчал желудок. Стало ясно, что попытками уснуть его больше не обманешь.

Я повернулся на бок и увидел, что хозяйка квартиры подсунула под дверь три письма. Вот уже несколько недель мне регулярно приходили всего два послания: счет за электричество и счет за телефон. Мистическое третье письмо все-таки заставило меня вылезти из постели.

Итак, первое письмо, ясное дело, от «Consolidated Edison» — про свет. Во втором письме, отправителем которого было Министерство юстиции, мне сообщалось, что я, Роберт Капа, бывший венгр, а теперь не пойми кто, отныне считаюсь потен-

циально враждебным иностранцем, а потому должен сдать свою фототехнику, бинокли и огнестрельное оружие, а на все поездки дальше чем на 10 миль от Нью-Йорка обязан просить специальное разрешение. Третье письмо было от редактора журнала «Collier». Он писал, что после двух месяцев изучения альбома с моими фотографиями редакция внезапно пришла к выводу, что я — великий военный фотограф, что они будут очень рады, если я выполню их спецзадание, что для меня куплен билет на корабль, отправляющийся в Англию через двое суток, и что к письму прилагается чек на 1500 долларов аванса.

Интересная ситуация. Если бы у меня была пишущая машинка и твердый характер, я был бы вынужден ответить на это письмо в том духе, что я вообще-то враждебный иностранец, который не имеет права не то что в Англию — в Нью-Джерси поехать, и что единственное место, куда я могу взять с собой фотокамеру, — это отдел собственности враждебных иностранцев в здании городского совета.

Но пишущей машинки не было, а пятак в кошельке был. Его можно было подкинуть и узнать свою судьбу. Орел — всеми правдами и неправдами выбираюсь в Англию. Решка — высылаю чек обратно и объясняю свое положение.

Я подкинул монетку. Решка!

Тогда я понял, что этот пятак не умеет предсказывать будущее, а значит, моя задача — обналичить чек и как-то выбраться в Англию.

Пятачок я потратил на метро. Банк выдал мне наличные. Рядом с банком было кафе «Janssen's», я зашел в него и съел большой завтрак, который обошелся мне в 2,5 доллара. Всё: после этого обратного пути у меня не было — не мог же я отправить в «Collier» 1497,5 доллара вместо 1500!

Я перечитал письмо редактора и убедился, что мой корабль действительно отправляется чуть меньше, чем через 48 часов. Потом я перечитал письмо из министерства. Теперь надо было

понять, как действовать. Мне всего-то нужно было получить: справку из призывной комиссии, разрешение на выезд и обратный въезд от министерства юстиции и государственного департамента, британскую визу, ну и какой-нибудь паспорт, куда можно было бы эту визу поставить. Было бы обидно получить отказ на первом же этапе, поэтому мне нужен был человек, который бы меня понял. Я был в печали. Соединенные Штаты еще только начинали понимать, что значит «печаль», а в Англии война длилась уже больше двух лет, и британские власти хорошо знали, что это такое. Я решил начать с англичан.

От кафе «Janssen's» до аэропорта было пять минут ходу. Я узнал, что через час будет рейс на Вашингтон, и купил на него билет, потратив еще немного денег журнала «Collier».

Через два с половиной часа я вышел из такси у посольства Великобритании в Вашингтоне и попросил провести меня к пресс-атташе. Им оказался джентльмен в твидовом костюме с очень красным и усталым лицом. Я сказал, как меня зовут, но что говорить дальше, не знал. Я даже не представлял, с чего начать свой рассказ, поэтому я просто вручил ему два письма. Письмо от редактора «Collier» не произвело на него никакого впечатления, но, отложив письмо из министерства юстиции, он едва заметно улыбнулся. Я воодушевился и отдал ему все еще запечатанное письмо от «Consolidated Edison» (я прекрасно знал, что в нем — очередное предупреждение о том, что мне вот-вот отключат свет за неуплату). Он жестом пригласил меня сесть.

Когда пресс-атташе наконец заговорил, он оказался на удивление человечным. До войны был профессором геологии. Когда началась Вторая мировая, безмятежно изучал состав почв на вершинах угасших вулканов Мексики. Он не интересовался политикой, но война есть война — и его внезапно направили работать в посольство. С тех пор ему приходилось ежедневно отвергать разного рода предложения о помощи Великобритании. Он заверил меня, что мой случай был самым трудным в его практике. Ура, я чемпион! Меня переполняли гордость за себя и симпатия к этому человеку. Я предложил ему пообедать вместе.

Мы пошли в «Carlton» и выпили изрядное количество сухого мартини, ожидая, пока освободится столик. Мой компаньон заметно разгорячился, и мне показалось, будто и атташе, и «Collier», и вся Британская империя были готовы принять меня в свои объятия. Когда столик наконец освободился и нам принесли меню, я для начала заказал дюжину устриц. За пять лет до этого, будучи во Франции, я немало инвестировал в алкогольное самообразование и хорошо помнил, что в любом приличном английском детективе обязательно есть устрицы и волшебное белое бургундское монтраше. В меню монтраше 1921 года стояло последним пунктом и было безумно дорогим. Это был удачный выбор: мой собеседник рассказал, что когда он 15 лет назад проводил свой медовый месяц во Франции, его спутница была в восторге именно от этого вина. Допивая бутылку, мы уже беседовали о нашей любви к Франции и монтраше. После второй бутылки мы выяснили, что оба мечтаем поскорее вышвырнуть немцев из la belle Франции, а после кофе с бренди «Карлос Примьеро» я рассказал, как три года Гражданской войны в Испании провел с республиканской армией и почему ненавижу фашистов.

Когда мы вернулись в посольство, он сразу позвонил в государственный департамент, пробился к какому-то высокому начальнику и, называя его по имени, сообщил, что у него в кабинете сидит «старик Капа», которому жизненно необходимо попасть в Англию, и что в течение пятнадцати минут я подъеду за разрешением на выезд и обратный въезд. Он повесил трубку, дал мне бумажку с именем нужного чиновника, и уже через 15 минут я был в госдепартаменте. Меня принял одетый с иголки человек, который вписал в бланк мое имя и род занятий, подписал его и сказал, что все бумаги будут ждать меня в девять утра следующего дня в иммиграционной службе нью-йоркского порта. Он проводил меня до дверей, немного постоял рядом со мной, потом похлопал меня по плечу, подмигнул и пожелал удачи.

Когда я вернулся в посольство, атташе был серьезен и слегка взволнован, но я успокоил его, сказав, что первый этап пройден успешно. На этот раз он позвонил в Нью-Йорк генеральному консу-

лу Великобритании. Он сказал, что «старик Капа» едет в Англию, все документы у него абсолютно в порядке, только вот нет паспорта. Прошло десять минут. За это время атташе еще несколько раз куда-то звонил. Потом мы оказались в маленьком баре. К нам присоединился морской атташе посольства. Мы выпили за мою успешную поездку. Мне уже пора было на самолет. На прощанье морской атташе заверил меня, что разошлет телефонограммы во все порты Великобритании и в них будет сказано, что я должен прибыть на некоем корабле, с фотокамерами и пленками, что мне надо оказывать всяческое содействие и что меня надо в целости и сохранности доставить в морское министерство в Лондоне.

Я летел в Нью-Йорк и думал о том, как прекрасны англичане, какое у них замечательное чувство юмора и как они умеют находить решения в ситуациях, кажущихся совершенно безвыходными.

На следующий день я встречался с британским генеральным консулом. Он отметил, что мой случай крайне необычен, но и война — тоже крайне необычное явление. Он выдал мне обычный лист бумаги, попросил написать на нем мое имя и объяснить, как я оказался без паспорта и почему мне надо в Англию.

Я написал, что зовут меня Роберт Капа, родился я в Будапеште, адмирал фон Хорти и венгерское правительство всегда меня недолюбливали, и это было взаимно. Что венгерское консульство после аннексии Гитлером страны отказывалось признавать, что я не являюсь венгром, но и обратного тоже не утверждало, а поскольку Венгрией фактически правил Гитлер, я, разумеется, не хотел быть его подданным. Дальше я написал, что все мои дедушки — чистокровные евреи, что я ненавижу нацистов и полагаю, что мои фотографии станут хорошей антифашистской пропагандой.

Отдавая ему эту объяснительную, я немного переживал за орфографические ошибки, но консул спокойно поставил на ней печати и обвил голубой ленточкой. Так появился на свет мой паспорт.

В то утро, когда мне надо было садиться на корабль, у меня все еще не было четырех или пяти второстепенных разрешений. Моя мама, которая жила тогда в Нью-Йорке, ездила вместе со мной на такси по разным присутственным местам, где надо было получить эти документы. Она ждала меня в машине и всякий раз, когда я выходил от очередного чиновника, молча пыталась узнать результат по моему выражению лица. Было понятно, что ее раздражают противоречия. Она надеялась, что у меня не будет проблем с получением бумаг, и я смогу спокойно уехать, но одновременно, в глубине души, она мечтала, чтобы что-нибудь пошло не так и меня не пустили снова на войну.

Наконец, я получил все документы, но мой корабль, согласно расписанию, должен был отправиться полтора часа назад, так что у моей мамы все еще была надежда, что я никуда не поеду.

Но когда мы приехали в порт, старая торговая посудина, на которой мне надо было плыть, все еще стояла у причала. Передо мной вырос необъятных размеров полицейский-ирландец. Я показал ему свои документы. «Ты вообще-то опоздал, — сказал он. — Ну, давай же, пошевеливайся!»

Дальше моя мама пройти не могла. Она перестала изображать из себя представителя «мужественных матерей военного времени» и превратилась в «а идише мамэ». Все слезы, которые она так долго сдерживала, покатались из ее больших, прекрасных карих глаз.

Огромный ирландский полицейский положил руку на плечи моей крохотной мамы и сказал: «Мадам, Вам надо выпить. Я угощу Вас».

Я в последний раз поцеловал маму и побежал по настилу к кораблю.

Когда я бросил последний взгляд на американский берег, фигуры полицейского и моей матушки удалялись в направлении бара, а над ними возвышались неожиданно приветливые небоскребы.

Я торопливо поднимался по трапу. Впрочем, я не был единственным опоздавшим. Едва не наступая на пятки двум пошатывающимся морякам, я покинул территорию Соединенных Штатов.

Капитан, возвышавшийся в конце трапа, повернулся к стоявшему рядом коллеге и сказал: «Вот эти двое подгребают — и все, больше никого не жду». Потом он увидел меня: «А ты кто такой?»

«Ну, тут такое дело, я — путешествующий враждебный иностранец».

«Что ж, ладно. Один странный груз мы уже везем. Пойдем-ка в мою каюту, посмотрим, что про тебя пишут в декларации».

Он убедился, что я правильно вписан в декларацию, и молча просмотрел мои документы.

«До войны, — сказал он, — я возил бананы и туристов из Вест-Индии в Англию. А теперь вместо бананов я привожу домой всякую херню, а на верхней палубе вместо отдыхающих едут разобранные бомбардировщики. Мой корабль не сияет чистотой, как раньше, мистер Капа, но туристические каюты свободны, и я надеюсь, что вы разместитесь с комфортом».

Я нашел свою каюту. Теперь можно было расслабиться. Мерно гудели двигатели. После двух лет, проведенных в Штатах,

я возвращался в Европу. Я предался воспоминаниям. Два года назад я прилетел из Франции в эту же гавань и переживал, что меня могут не впустить в страну. Тогда все мои документы тоже были придуманы буквально на ходу. В тот раз я представлялся агрономом, направляющимся в Чили поднимать там сельское хозяйство. Мне сделали транзитную визу на 30 дней. Когда она кончилась, настали трудные времена — стоило невероятных усилий упротить власти, чтобы они разрешили мне остаться. А теперь, чтобы выехать, потребовалась помощь чудотворца в образе английского профессора...

Я достал свои фотоаппараты, к которым мне с 8 декабря 1941 года запрещалось даже прикасаться, налил себе стаканчик и снова почувствовал себя репортером.

На рассвете мы встали на якорь в гавани Галифакса. Капитан сошел на берег, чтобы получить распоряжения. Когда он вернулся, оказалось, что наш корабль должен возглавить целый караван и что с нашего капитанского мостика этим караваном будет руководить бывший военно-морской офицер, занявший должность коммодора — начальника конвоя.

Перед моими глазами сразу же встал сенсационный репортаж в «Collier» на два разворота под заголовком «Начальник конвоя». На драматичных снимках зритель видит старого морского волка, стоящего на капитанском мостике, а со всех сторон тонут, тонут корабли.

После обеда коммодор послал за мной. Было очень темно, но когда я наконец различил черты лица этого человека, меня постигло разочарование. Вместо потрепанного жизнью морского льва, которого рисовало мое воображение, я увидел подтянутого джентльмена лет пятидесяти, и единственное, что в нем было от образа старого моряка, — это огромные, густые брови. Я представился. «Что касается меня, — ответил он, — то я ирландец». И тут же продолжил свой монолог рассказом о том, как он интересуется миром кино и какие звезды Голливуда ему нравятся. По-

том он сказал, что ему постоянно надо дежурить на капитанском мостике, но он был бы рад, если бы я каждый вечер приходил к нему и рассказывал какие-нибудь смешные истории про Голливуд. Взамен он рассказал бы мне все про морской конвой.

Но это было нечестно! Он-то действительно все знал про свои караваны и конвои, а я даже не бывал в Голливуде. Однако мне не хватило духу признаться ему в том, что он перепутал меня с Фрэнком Капрой, что на самом деле я был Бобом Капой, а вовсе не известным кинорежиссером. В общем, до конца поездки мне надо было играть с ним в Шахерезаду. Оставалось лишь надеяться, что мы прибудем на место быстрее, чем через тысячу и одну ночь.

Мы переночевали в гавани. Наутро коммодор спросил, не хочу ли я пойти вместе с ним на другие суда каравана. Большинство кораблей шли под иностранными флагами, и начальнику конвоя было тяжело объясняться с капитанами. Шведские и норвежские шкиперы неплохо изъяснялись по-английски и поили нас водкой. У голландцев был отличный джин и вообще не было никаких проблем. У французского капитана нашлось изумительное бренди, но мне пришлось переводить. У грека был убийственный напиток под названием «узо», к тому же он очень быстро тараторил по-гречески. Всего мы побывали на двадцати трех кораблях и нагрузились двадцатью тремя национальными напитками. На обратном пути коммодор жаловался на безумных иностранцев, а я чувствовал себя решительно англосаксом.

Днем мы без особых проблем составили караван. Шли в четыре ряда по шесть кораблей в каждом на расстоянии порядка тысячи ярдов друг от друга. Эскорт у нас был тот еще: всего один эсминец и пять крошечных корветов.

Первую ночь на капитанском мостике я продержался без проблем: говорил преимущественно коммодор. Он рассказал, что во время Первой мировой был капитаном эсминца, а потом командовал целой флотилией. То и дело звучали названия вроде Зебрюгге и Галлиполи. Закончив свой рассказ, он спросил, как поживает Лилиан Гиш. Я его заверил, что она по-прежнему в

прекрасной форме и что наше с ней расставание может послужить началом большой дружбы.

Первые четыре дня прошли довольно скучно. Я бродил по кораблю, снимая всё и всех от верхушек мачт до глубин машинного отделения, а вечера проводил на капитанском мостике, рассказывая коммодору все, что мог вспомнить из бульварной прессы, которую читал в ожидании приема у дантиста. Я туманно намекал ему, что вообще-то очень молчалив и сдержан, и одновременно дал понять, что был замешан в некоторых голливудских скандалах. А он мне рассказывал морские байки. О том, например, как во время похода в Мурманск его ботинки примерзли к палубе, и он три дня не мог пошевелиться. В открытом море коммодор не пил, но у меня в кармане была фляжка, и я прикладывался к ней, пока он рассказывал свои истории, чтобы не замерзнуть. После полуночи, стоя у перил капитанского мостика, мне порой казалось, будто это стойка какого-нибудь старого бара на Третьей авеню.

Пока что моя «североатлантическая битва» была очень приятной — даже слишком приятной. А команде было совершенно наплевать на мою жажду деятельности. Их, казалось, совершенно не волновало, что статья в «Collier» получится скучной.

На пятый день плавания мы вошли в плотный североатлантический туман. Наш эсминец поравнялся с нами, остановился и подал нам какой-то сигнал. Коммодор обратился ко мне: «Капра, если ты умеешь снимать в тумане, то сейчас тебе покажут твою чертову сенсацию. В тридцати милях прямо по курсу нас поджидает стая волков. Да-да, мы наткнулись на немецкие подлодки».

Несмотря на туман, коммодор решил, что мы должны сменить курс. Видимость упала до нуля: с мостика было не разглядеть даже кормы нашего же корабля, при этом в радиоэфире надо было хранить полное молчание. Связь с караваном — только с помощью туманных горнов. Норвежский танкер, который должен был плыть слева от нас, дал два длинных и три коротких гудка откуда-то справа. Греческий сухогруз, который должен был идти замыкающим в трех милях позади нас, четырежды прогудел ярдах в пятидесяти от нашего бака. Двадцать три гудя-

щих горна нашего каравана, я думаю, было слышно в Берлине. Коммодор в ярости проклинал всех дружественных, нейтральных и союзнических шкиперов. Однако думать о том, насколько велики шансы столкнуться, было некогда: волки нас учуяли, и наш эскорт начал расставлять глубинные бомбы.

Я упаковал свой ценный паспорт и то, что осталось от денег «Collier», в кيسет из плащевки и горько пожалел о своем желании сделать статью менее скучной.

Коммодор подал сигнал, означавший, что караван должен рассеяться. Теперь каждый корабль был сам по себе. Время от времени моторы соседних кораблей гудели пугающе близко, но зато разрывы глубинных бомб раздавались все дальше и дальше от нас.

Через двое суток туман сменился совершенно безоблачной погодой. Все 23 корабля были в сборе. Не потерялись даже корабли сопровождения. Мы даже сохранили какое-то подобие каравана, только суда, шедшие в центре, теперь плыли где-то сбоку, греческий корабль был замыкающим, а теперь вырвался вперед, а мы, наоборот, плелись где-то в хвосте колонны.

На горизонте появилась какая-то точка, которая вскоре начала подавать нам световые сигналы. Наш сигнальщик с невозмутимым лицом доложил: «Сэр, корабль военно-морских сил Великобритании “Harvester” спрашивает, не можем ли мы поделиться с ним пивом».

«Передай, чтобы подошли и получили свое пиво».

Эсминец, сделав пару причудливых кругов вокруг каравана, весело подплыл к нам. На мостике стоял британский капитан с громкоговорителем. «Не ожидал встретить вас, сэр! Удивлен, что все ваши корабли еще на плаву!»

«Не ожидал встретить эсминец британского флота на плаву и без пива!» — парировал коммодор.

«У нас закончились глубинные бомбы, так что добывать немца пришлось пивными бочками!»

Вскоре после этого на нашей мачте подняли какие-то непонятные флажки. Сигнальщик перевел мне, что они означали: «Для меня было честью идти позади вас, но вернитесь на исходные позиции. Используйте предостерегающие сигналы».

Корабли расшифровали это сообщение. Норвежский танкер едва не протаранил греческий сухогруз. Шведский красавец дал полный назад и исчез из виду. Французы сообщили, что у них сломался паровой котел, и попросили оставить их в покое. Через четыре часа караван наконец собрался и двинулся дальше в составе 22 судов.

Вечером, когда я пришел на капитанский мостик, коммодор не обратил на меня никакого внимания. Я уж было собрался возвращаться в свою каюту, как он ожил: «Кстати, Капра, а ты знаком с Кларой Боу?»

Оказалось, что британский миноносец напрасно выкинул бочки с пивом — это не помогло: на следующий день немецкие подлодки снова окружили нас. Наш эсминец скрыл караван весьма фотогеничной дымовой завесой и запросил подкрепление. К нам выдвинулся британский морской патруль и, к счастью, вовремя подоспел. Последним штрихом к статье «Североатлантическая битва» для журнала «Collier» стал чудесный воздушный бой между немецким самолетом и британским самолетом-амфибией, проходивший под аккомпанемент зениток, которые при каждом выстреле окутывали все вокруг черным дымом.

К тому дню, когда на горизонте появился маяк Северного пролива, я уже сфотографировал все, что мог, а воображение мое было истощено историями про Голливуд.

Впервые за все время плаванья коммодор не стоял весь вечер на мостике. Он спустился вниз, и я остался наедине с сигнальщиком. Это был тихий человек, не сказавший за все время пути ни одного лишнего слова. Он удостоверился, что коммодор действительно ушел, и прошептал: «Этот старик — отличный мужик,

но, — извините, что я так говорю, — некоторые истории, которые он вам рассказывал...»

То, что не все они были правдивыми, меня сильно утешило, но я решил, что мне следует при первой же возможности извиниться перед мистером Фрэнком Капрой.

Войдя в пролив, мы изменили боевой порядок. Дистанция между кораблями была сокращена до ста ярдов. Впервые за долгое время радиомолчание было снято, и каждому кораблю дали указания, где причаливать. Я надеялся, что наш корабль кинет якорь в Ливерпуле, и уже предвкушал, как проведу первый день в отеле «Savoy» в Лондоне. Но военно-морская администрация распорядилась иначе: нам дали приказ выйти в Ирландское море и ждать дальнейших указаний из Белфаста.

Отелю «Savoy» придется ждать меня на сутки дольше. Ну ничего страшного. Коммодор сказал, что знает симпатичный паб в Белфасте, где он хотел бы наверстать упущенное.

Вскоре мы бросили якорь, и к нам на моторке подошли джентльмены в котелках — представители иммиграционной службы. Они поднялись на борт и стали проверять документы. Мои бумаги они изучали с очень озабоченным видом, то и дело покачивая своими котелками. Что-то их явно не устраивало. Когда они узнали про мои камеры и пленки, их котелки стали раскачиваться еще яростнее. Я сказал им о секретной телефоннограмме от военно-морского атташе из Вашингтона, но они лишь посмотрели на меня пустыми глазами. От отчаянья я принялся шутить и заверять их, что я, в общем-то, не Рудольф Гесс и не принадлежу к числу тех, кто любит прибывать в Англию на парашюте. Но их это не развеселило. Они сообщили мне, что во время войны в Северной Ирландии могут высаживаться только граждане Великобритании. Это означало, что мне придется оставаться на борту, пока мы не причалим в каком-нибудь из английских портов, где власти должны будут решить мою судьбу.

Коммодор, кажется, искренне жалел, что не может взять меня на берег. Он предложил мне пожить в его каюте, сказал, что мои истории были чрезвычайно интересными, и покинул борт вместе с офицерами иммиграционной службы. Капитан, к которому наконец вернулись все полномочия по распоряжению кораблем, попытался утешить меня тем, что через три дня ему обязательно дадут приказ следовать в Англию. «Поскольку официально мы не вошли в порт, — добавил он радостно, — магазины на борту будут работать, и за 7 шиллингов там по-прежнему можно купить бутылку шотландского виски».

Я перебрался в каюту коммодора, заказал виски, включил радио и уселся играть в очко. К десяти вечера бутылка была пуста, а запасы денег, доставшихся от «Collier», уменьшились еще на 150 долларов. Я заказал еще бутылку, но стюард вернулся с пустыми руками, подозрительно посмотрел на меня и сообщил, что меня вызывают в каюту капитана.

Я поплелся к капитанскому мостику. Я чувствовал, что надвигаются большие неприятности. Вдобавок, в желудке у меня болталось слишком много виски. В каюте, помимо капитана, сидели два молодых морских офицера. Их звали Гарбридж и Миллен. Удостоверившись, что моя фамилия Капа, они потребовали отдать им мои фотокамеры, пленки и записные книжки. «Нет, — сказал я, — это невозможно. Мои камеры, пленки и записные книжки должны быть при мне. Более того, по прибытии в британское военно-морское ведомство все эти вещи должны быть предъявлены для согласования, и на данный момент ни пленки, ни записные книжки еще не согласованы. Вместо этого у меня грубо вымогают все это на пустом корабле посреди Ирландского моря. Нет уж, теперь я останусь на борту и сразу по прибытии в Англию буду жаловаться начальству».

Они что-то промямлили про военное время и сгрудились в углу над какой-то непонятной бумажкой. Спустя несколько минут, что-то обсудив, прочитав и по меньше мере трижды перечитав написанное на бумажке, они повернулись ко мне и снова велели незамедлительно передать им мои пленки, камеры и записные

книжки. Они сказали это каким-то другим тоном, и мне это не понравилось.

Внезапно туман, образовавшийся в голове после литра виски, рассеялся — и меня осенило. Я предложил им побиться об заклад, что я смогу сказать, что написано в их бумажке, и рассказал, как военный атташе в Вашингтоне собирался разослать шифровки во все порты Великобритании и написать в них, что некий Роберт Капа прибывает на некоем корабле с камерами и пленками, что эти вещи надо оберегать, а их владельцу следует помочь пройти все формальности и добраться до Адмиралтейства в Лондоне. Так что надо не мучить меня, а вернуться на берег, убедиться в правоте моих слов, позвонив в вашингтонское посольство, и потом доложить в Адмиралтейство, на каком именно корабле я нахожусь, и сообщить, что рано или поздно я прибуду в Англию.

Гарбридж и Миллер еще раз посмотрели на свою бумажку, друг на друга, а потом дали ее мне. Ну что я могу сказать. Там действительно что-то было про пленки, камеры и Капу, но телефонограмму шифровали и расшифровывали столько раз, что она теперь допускала самое широкое толкование, прямо как Библия. Гарбридж, внезапно смягчившись, спросил, можем ли мы поговорить наедине.

«Мы не сомневаемся в правдивости Ваших слов, сэр, — сказал он, явно смущаясь. — Но я надеюсь, что и Вы поверите тому, что я сейчас скажу, и поймете нас».

Новый поворот событий меня воодушевил. Я стал слушать.

Он объяснил, что они с Миллером служат в военно-морской разведке в Белфасте. Накануне выдался особенно трудный день, поэтому вечером они решили немного выпить. В кабаке они повстречали шкипера минного тральщика, их старого приятеля и однокашника, и он уговорил их пойти к нему на корабль, так как там выпивка стоила куда меньше, чем в баре. Так и оказалось. Спиртного было очень много, и оно было очень дешевое. Вскоре они поняли, что добраться до места службы им этой ночью не суждено. Вернулись они туда совсем недавно, тогда и обнару-

жили шифровку. И теперь, если они явятся с пустыми руками, им придется выдумывать какие-нибудь очень серьезные оправдания своей задержке. А если им не поверят, то оторвут голову. Если бы я пошел с ними, то они организовали бы все в лучшем виде, и я бы смог очень быстро добраться до Лондона вместе со всеми моими камерами, пленками и так далее.

Легко быть благородным! Я решил помочь британскому военно-морскому флоту. Купил три бутылки виски и пошел за Гарбриджем и Миллером. В крошечной темноте мы спустились по раскачивающейся веревочной лестнице к ждавшей нас моторке, самой маленькой из имеющихся на флоте. Волны нещадно подбрасывали ее вверх и потом столь же нещадно низвергали в пучину.

Однако приключения на этом не кончились. Парень, управлявший лодкой, повернулся к двум моим новым приятелям и сообщил, что уже половина двенадцатого ночи, а таможня и иммиграционная служба откроются только в восемь утра. Он добавил, что ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы я сошел на берег.

Мы все трое были опечалены. На этот раз ситуацию спас Миллер. «Может, мы найдем тральщик? Там мы могли бы нормально переночевать, а с утра на моторке поехали бы в гавань».

Два часа мы в полной темноте искали нужный минный тральщик. Шкипер, разглядев Гарбриджа и Миллера, спросил, осталось ли у них вино. Миллер ответил, что у них есть не только вино, но и Капа. Шкипер решил, что «Капа» — это какой-то новый напиток, и радостно пригласил нас на борт. Решив не дожидаться, пока что-нибудь еще стрясется, уставший парень, привезший нас на моторке, благоразумно удалился куда-то в темноту.

Каюта тральщика, в которой царил полнейший бардак, едва вместила нас. Шкипер поинтересовался наличием виски. Я предъявил взятые с собой три бутылки. Потом он спросил про Капу. Гарбридж принялся рассказывать ему длинную историю

про меня, но шкипер быстро запутался и, слегка покачиваясь из стороны в сторону, произнес: «Ты, главное, скажи мне одну вещь. Все в порядке или не все в порядке?»

«О, конечно же все в порядке!» — заверил Гарбридж. Ну и в любом случае изменить что-нибудь прямо сейчас мы не могли.

Мы открыли бутылки и выпили за британский военно-морской флот, потом за торговый флот и сразу же — за минные тральщики. Потом шкипер обратился ко мне и предложил тост за царя Бориса и немедленно добавил, понизив голос: «Не обижайся, старик, но разве твой царь Борис не перешел на сторону противника?»

Я сказал, что, во-первых, царь Борис не мой, а болгарский, но он, конечно же, был на стороне противника. «К сожалению, — продолжил я, — ко мне гораздо большее отношение имеет адмирал фон Хорти, который по-прежнему у власти в Венгрии и тоже на стороне противника». Шкипер извинился, но поводов для тостов было еще очень много, так что мы быстро сменили тему.

На следующее утро мы проснулись в шесть часов с похмельем и дурным предчувствием. Мы уже почти собрались подать сигнал в гавань, чтобы нам прислали моторку, но в этот момент в каюту вошел главный сигнальщик и сказал, что дан приказ незамедлительно выйти в Ирландское море и вылавливать мины! Пришлось доложить в военно-морскую разведку, что Капа отправился в Ирландское море тралить мины... и что все объяснения потом...

Мы провели три дня в открытом море. На обратном пути пришлось почистить одежду и дважды побриться. После этого мы тщательно отрепетировали, что и как мы будем врать.

Пройдя маяк, мы возвестили разведке о нашем возвращении. Еще от входа в гавань в бинокль можно было разглядеть, что у причала нас ждут люди в синей форме. Шкипера убедили, что ему нечего терять, кроме своей команды, Гарбридж и Миллер

сошлись на том, что больше нескольких лет тюрьмы им не дадут, ну а мне даже не хотелось думать о своей дальнейшей судьбе.

Когда мы причалили, на борт взошел офицер службы безопасности порта и молча выслушал наши истории. Затем он сказал: «Может, в ваших рассказах и есть доля правды, но в истории британского флота еще не было случая, чтобы минный тральщик служил гостиницей для иммигрантов».

С этими словами он удалился, заявив на прощанье, что вскоре нас лично посетит капитан белфастской гавани.

Он действительно пришел и молча выслушал доклады Гарбриджа, Миллера и шкипера. Когда очередь дошла до меня, я начал с того, что в происшествии, конечно, не было вины Гарбриджа, Миллера и шкипера. Потом я стал рассказывать о себе: как я родился в Венгрии...

«Где-где?» — перебил он меня.

«В Венгрии, — повторил я. — В Будапеште».

Капитан всплеснул руками. «Мальчик мой! — воскликнул он. — Ты должен пообедать сегодня с нами! Боже, Будапешт! Ведь там родилась моя жена!»

Шкиперу дали трехдневный отпуск. Гарбриджу и Миллеру пообещали, что скоро их повысят в звании. А меня накормили невероятно вкусным венгерским обедом и на следующий день спецрейсом отправили в Лондон.

Офицер пресс-службы морского министерства принял меня, листая папку с названием «РОБЕРТ КАПА». Он посмотрел на меня, потом на папку и выразил надежду, что мое путешествие из Америки получилось интересным. Еще он сказал, что рассчитывает получить от меня серьезную статью о торговом флоте, а не смешные заметки, которые обожают писать газетчики. И этак между прочим бросил фразу о том, что цензор, разумеется, не пропустит никакие истории о моем плавании на минном тральщике и морских разведчиках, поскольку все это не имеет отношения к заданию, данному мне журналом. Напоследок он сообщил, что в редакции «Collier» уже интересовались, не приехал ли я, и с нетерпением ждут встречи.

«Редакцией» оказался большой шикарный номер отеля «Savoy», в котором жил Квентин Рейнольдс. Когда я вошел, он пил кофе и пригласил меня составить ему компанию.

Комната была завалена газетами и опутана телефонными проводами. Газеты кричали о вторжении в Северную Африку — и по телефону из нью-йоркского офиса «Collier» требовали, чтобы Капа туда немедленно ехал. Рейнольдс небрежно спросил, есть ли у меня аккредитация от американских военных, а я ответил, что ее у меня не только нет, но нет и никаких шансов, что воен-

ное ведомство США (да и любой другой страны, за исключением Венгрии) мне ее выдаст. Я притворился, будто мне не меньше, чем Рейнольдсу, странно, что «Collier» не знает о моем венгерском происхождении. Он спросил, когда я смогу вернуться в Штаты. Я попытался убедить его, что из меня еще может получиться великий военный фотограф, и напомнил, что журнал и так уже потратил порядка тысячи долларов на доставку Капы в Лондон и вряд ли имеет смысл сразу же отправлять его обратно.

Мы решили, что для продолжения беседы надо немного выпить. Спустившись в бар «Savoy» и выпив всего один бокал, Квентин сдался и согласился, что будет забавно поработать с венгерским фотографом.

Первое, что должен был сделать в Лондоне военного времени любой иностранец, дружественный или враждебный, — это зарегистрироваться в полицейском участке на Вайн-стрит. Приехав туда, мы обнаружили, что к зданию участка тянется огромная очередь.

В 1942 году Квентин Рейнольдс был, пожалуй, одним из самых популярных американцев в Англии, уступая только Франклину Рузвельту. Его большое, доброе сердце было обращено в Бруклине и вскормлено в кабаках, где вечно ошивается журналистская братия.

Никому, разумеется, даже в голову не могло прийти, что его 220 фунтов живого веса будут стоять в одной очереди с обычными щуплыми иностранцами. Мы вошли в участок, как выходят на сцену. Квентин встал как вкопанный на пороге комнаты регистрации и, сделав эффектную паузу, объявил тем же голосом, которым он зачитывал знаменитое радиообращение к доктору

ЛОНДОН, июнь—июль 1941 года. Уполномоченный по гражданской обороне Джон Брэмли занимает Пост № 2 в округе Ламбет в Лондоне. Брэмли нес круглосуточную вахту во время бомбардировок Лондона.





ЛОНДОН, июнь—июль 1941 года. Вечерний чай в бомбоубежище.



ЛОНДОН, июнь—июль 1941 года. Церковь св. Иоанна в сильно пострадавшем от бомбежек районе Кокни недалеко от Ватерлоо-роуд.



ЛОНДОН, июнь—июль 1941 года. Миссис Гиббс, жительница Уичкоут-стрит, недалеко от Ватерлоо-роуд. Капа несколько дней снимал будничную жизнь семьи Гиббс.



ЛОНДОН, июнь—июль 1941 года. Мать читает письмо сына из армии (его фотокарточка видна в правом нижнем углу).



ХАРТФОРДШИР, АНГЛИЯ, 1942 год. Чтобы помочь военной экономике, бывшая сотрудница лондонского универмага учится на доярку.

Геббельсу и Шикльгруберу: «Я привел вам немецкого шпиона! Зарегистрируйте его!» Затем он обернулся ко мне и сказал на ломаном немецком: «Nicht wahr?»

Публика отреагировала так, как и было задумано: весь полицейский участок покатился со смеху. Мне мгновенно выдали регистрационную карточку, сняв тем самым все ограничения, и я стал личным враждебным иностранцем Короля Великобритании и Квентина Рейнольдса.

После этого инспектор полиции выпросил у Квентина автограф и взнос в Фонд помощи России. До конца войны явно было еще далеко, а Англия была все еще весьма признательна русским.

Теперь нам надо было посетить отдел по связям с общественностью армии США. Он располагался на Гросвенор-сквер. Вошли туда мы куда менее эффектно — и приняты были значительно холоднее. Майор, с которым мы общались, не считал, что моя национальность хоть сколько-нибудь упрощает дело. Если мне дадут задание сфотографировать американские базы, дислоцированные в Англии, он сможет сделать мне пропуск, но чтобы получить постоянную аккредитацию военного корреспондента при американской армии, необходимо вначале добиться разрешения от службы разведки. Услышав про «разведку», которая в детективах и среди военных чаще обозначается как МІ6, я вспотел от ужаса. Квентин проводил меня до двери с огромной надписью «2-й отдел», пожелал мне удачи и посоветовал вести себя тихо, говорить правду и как можно меньше походить на венгра.

Я ожидал увидеть что-нибудь вроде комнаты пыток и потому был более чем тих. «Следователь» сидела за большим столом. Это была женщина небольшого роста, бойкая, слегка курносая, с очень красивой рыжей шевелюрой. Она была англичанкой и работала ответственным секретарем начальника отдела.

Я объяснил цель моего визита и вкратце рассказал свою биографию. Естественно, я забыл обо всех ценных советах и вел себя как типичный венгр. Когда я наконец умолк, она рассмеялась и сказала, что к моим красивым карим глазам хорошо пойдет аме-

риканская военная форма. Мы договорились, что она наденет на меня форму и в тот же день, уже в форме, я пойду с ней гулять. Она заверила, что все уладит, и мне показалось, что даже серое исподнее будет сидеть на мне, как влитое.

Утро я встретил в отеле «Savoy». Меня разбудил благородного вида портье, принесший чай, холодный омлет и три письма на красивом серебряном подносе. Он поставил все это на стол, где у меня валялись 48 отснятых во время плаванья роликов непроявленной пленки, становящаяся все солиднее пачка моих документов и несколько зеленых бумажек — остаток аванса «Collier». На сей раз я вскрывал письма неторопливо. Они лишь подтверждали мой новый статус respectable человека, у которого все в порядке с документами. Американские военные писали, что, пока я жду получения аккредитации, они приглашают меня сфотографировать «Летающие крепости», дислоцированные на военном аэродроме в Челвестоне. Еженедельник «Illustrated» интересовался приобретением прав на публикацию в Англии моих рассказов и не глядя предлагал по сто фунтов за каждый. Английский промышленник мистер Ярдли, чья супруга по прозвищу «Цветочек» была сестрой одного моего нью-йоркского друга, звал меня погостить у него в Мейденхеде на выходных или в любое другое время.

Покончив с завтраком, я оделся и решил нанести визит в лондонские офисы моих прежних работодателей — журналов «Time» и «Life». Съемки для журнала «Life» были моей первой большой работой. Много лет назад, когда я только начал сотрудничать с ним и снимал Гражданскую войну в Испании, я часто появлялся в Лондоне, и редакция этого журнала была мне очень хорошо знакома.

Старое серое здание на Дин-стрит из-за налетов выглядело слегка потрепанным. В пабе «Bath House» по соседству вместо стекол в окнах были фанерки, но на бизнес это, кажется, не повлияло. Я почувствовал приступ нежности и сентиментальности.

Кроки и Дороти, две ирландские девушки, еще пять лет назад заправлявшие практически всеми делами в лондонской редакции, были на месте. Кроки теперь стала старшим редактором, а раньше она была секретарем и помогала «англифицировать» мои англоязычные подписи к фотографиям. Она сказала, что прогресс налицо и уже почти понятно, что я хочу сказать. Я показал ей статью «Начальник конвоя», и Кроки от этого литературного экзерсиса пришла в полный восторг. Она предложила немного подчистить текст и на четыре часа засела за пишущую машинку. Тем временем в фотолаборатории «Life» мне по старой дружбе проявили пленки, отснятые для «Collier». Потом мы спустились в «Bath House», где я в знак благодарности угостил всех розовым джином.

На следующее утро курьер журнала «Life» принес сотню моих фотокарточек и десять страниц машинописного текста — это была статья «Начальник конвоя» в трех экземплярах, над каждым из которых красовалось мое имя. Один экземпляр я отослал цензору, один — в «Collier» и еще один отнес в английский журнал «Illustrated». Редактор последнего посмотрел на фотографии, прочитал текст и спросил, не буду ли я возражать, если рядом со статьей напечатают мой портрет и биографию, и устроит ли меня формулировка «знаменитый американский фотограф». Я сказал, что сильно возражать не буду. После этого он выдал мне чек на 150 фунтов стерлингов.

Я обналичил чек в отеле «Savoy» и спросил у швейцара, когда ближайший поезд на Челвестон. Там располагался английский военный аэродром, на котором стояла 301-я бомбардировочная группа молодого военно-воздушного флота США. Четыре дюжины «Летающих крепостей», несколько облезлых казарм и непролазная грязь — вот и все, что там было. Я предъявил пропуск и без проблем прошел на территорию. Офицер по вопросам спецобслуживания выделил мне железную кровать с тремя одеялами, банку мясных консервов, потом проводил до входа в

столовую и оставил утопать в грязи, сказав на прощанье: «Чувствуйте себя как дома!»

На мне был обычный гражданский костюм, а повсюду снова-ли мальчишки в военной форме, не обращающие на меня никакого внимания. Я чувствовал себя далеко не «как дома». И, главное, вообще не представлял, как стать здесь своим.

Мне показалось, что все идут в одну из казарм, и я решил направиться в ту же сторону. Это оказался клуб. Я вошел в него в надежде, что кто-нибудь со мной заговорит. Вскоре солдат, дежуривший за барной стойкой, спросил, чего бы я хотел выпить. Я преисполнился благодарности к этому человеку и попросил теплого пива, которое хлестали все вокруг. Молодые летчики, которым предстояло стать первыми, кто пролетит над Европой в знаменитых «Летающих крепостях», выглядели тихими и подавленными. Одни читали старые американские журналы, другие, сидя поодиночке, строчили бесконечные письма. Единственным местом, где что-то происходило, был центр комнаты. Там стоял большой стол, вокруг которого сгрудилась толпа солдат.

Когда я протиснулся между их спинами, кто-то вскрикнул: «Хай-лоу!» — и сгреб с центра стола здоровую стопку денег. Я следил за действиями игроков, но долго не мог взять в толк, что же это за игра. Наконец стало понятно, что это какая-то весьма заумная разновидность покера. Вскоре один игрок вышел из-за стола, и у меня появился шанс стать своим. Мне любезно разрешили присоединиться к игре, сдали две закрытых и одну открытую карту и потребовали с меня полкроны. Потом выдали еще три открытых карты и одну закрытую, прося за первые по

ЧЕЛВЕСТОН, АНГЛИЯ, ноябрь 1942 года. Командир отряда американской 301-й бомбардировочной группы и личный состав внимательно слушают инструктаж, предваряющий налет на Сен-Назер, где дислоцировались немецкие подводные лодки, угрожавшие американским кораблям, шедшим в Северную Африку.





ЧЕЛВЕСТОН, АНГЛИЯ, ноябрь 1942 года. Штурман американской 301-й бомбардировочной группы.

несколько шиллингов, а за последнюю — два фунта. После того как все карты были розданы, игроки начали объявлять свои комбинации. Одни говорили «хай», другие — «лоу». Я внимательно посмотрел на то, что было у меня в руке. На некоторых картах были нарисованы какие-то важные физиономии, на некоторых — небольшие цифры. Поэтому я сказал: «Хай и лоу». На меня посмотрели с подозрением. Велели показать три закрытые карты. Я показал... все рассмеялись, и двое солдат поделили между собой деньги, поставленные на кон.

Спустя некоторое время я сходил в свою комнату за камерой и взял реванш, сняв со всех ракурсов игроков, читателей журналов, писателей писем, любителей теплого пива и граммофонных пластинок.

К полуночи клуб опустел — на следующий день был запланирован вылет на задание, общий сбор был назначен на раннее утро. Нас разбудили в пять утра, и все поспешили на предполетный инструктаж. Один из офицеров подробно описал погодные условия, другой — приметы цели, которую надо поразить, а третий долго рассказывал о том, сколько у противника зениток и истребителей. К шести часам все собрались в клубе и стали ждать команды на взлет. Нервное и томительное ожидание. Все молчали. Это был всего лишь третий боевой вылет на территорию Европы. В девять по громкоговорителю объявили, что небо над Францией закрыто и все могут идти спать. Солдаты были злы и разочарованы. Пришлось им вернуться к своим журналам, письмам, теплему пиву, покеру и непролазной грязи.

Минуло четыре однообразных дня. Я много фотографировал, тренировался играть в «хай-лоу» и узнал много интересных разновидностей покера: «Плевков в океан», «Бейсбол» и «Красная собака». К пятому дню у меня напрочь кончились деньги, но на этот раз вылет не стали отменять. Я проводил моих друзей-картежников к их самолетам и снял их под всеми возможными углами. Молодой лейтенант по фамилии Бишоп взлетал последним и, перед тем как подняться в кабину, повернулся ко мне и стал позировать. Он был пацан как пацан, но его нос удивительным

образом напоминал нос его «Летающей крепости», поэтому я снял их вместе. Такая композиция мне очень понравилась.

Самолеты поднялись в воздух. Лишь спустя шесть долгих часов, проведенных на диспетчерской вышке, я увидел на горизонте первую возвращающуюся «Крепость». Мы принялись считать, сколько самолетов приближается к авиабазе. Утром из Челвестона красивым строем ушли 24 машины. Теперь мы насчитали всего 17 самолетов, разбросанных по всему небу.

Они кружили над диспетчерской вышкой и ждали разрешения на посадку. У одной из «Летающих крепостей» было отстрелено шасси и поврежден фюзеляж. Диспетчер приказал этому самолету садиться первым и попытаться приземлиться на брюхо. Я приготовил «Contax» и отщелкал ролик пленки, снимая приземление. Когда машина наконец остановилась, я побежал к ней, на ходу настраивая второй «Contax». Люк кабины открылся, и то, что осталось от парня, сидевшего в ней, спустили вниз и передали врачам. Он стонал. Два следующих бойца, которых вынули из самолета, уже не стонали. Последним из самолета выбрался пилот. С ним вроде бы было все в порядке, если не считать небольшой раны на лбу. Я подошел поближе, чтобы снять его крупным планом. Внезапно он остановился и закричал: «Вот таких снимков ты и ждал? Фотограф!» Я убрал камеру и уехал в Лондон, ни с кем не попрощавшись.

Я ехал в поезде. В моей сумке лежали удачно отснятые пленки. Я ненавидел себя и свою профессию. Это фотографии для гробовщиков. Но какого черта? Я не хочу быть гробовщиком! Если уж участвовать в этих похоронах, поклялся я себе, то не в роли постороннего.

Я хорошенько выспался, и на следующее утро мне уже было лучше. Бреясь перед зеркалом, я затеял дискуссию с самим собой о несовместимости профессии репортера с мягким характером. Если бы я привез снимки солдат, режущихся в покер, но не снял бы раненых, картина получилась бы лживой. Фотографии уби-

тых и раненых показывают людям, что на самом деле происходит на войне, и я был рад, что успел отснять эту пленку до того, как раскис.

Позвонили из «Illustrated». Я сказал, что сделал «сенсационные» снимки. Мне пообещали тут же выслать курьера, чтобы забрать пленки и проявить их.

Я не забыл происшествия на аэродроме, и мне страшно не хотелось влезать в военную форму. Я пригласил рыжеволосую Пэт, секретаря американской военной разведки, на обед, надеясь выяснить, что получение аккредитации нельзя ускорить. Она сказала, что вопрос о выдаче мне аккредитации уже решен и я могу безбоязненно заказывать у портного форму американского военного корреспондента.

Портной определенно имел свой взгляд на то, как должна выглядеть форма американского офицера. Материал, конечно, несколько отличался от официально утвержденного, но мне показалось, что он гораздо симпатичнее. Я рассчитывал, что аккредитацию мне выдадут через шесть дней, и портной пообещал, что управится за это время.

Я отправился в редакцию «Collier» сообщить Квентину Рейнольдсу хорошие новости. Оказалось, что и у него для меня есть неплохие известия: нью-йоркская редакция журнала получила мою статью про морской конвой и отдаст под нее два разворота. Я рассказал ему о поездке на военный аэродром. В ответ Квентин предупредил меня, чтобы я не пытался делать слишком многое слишком быстро. Вместо того он посоветовал мне пойти и проникнуться духом Лондона, сопроводив эту рекомендацию списком адресов, где этот самый дух может быть обнаружен.

Лондон, после бомбежек, но еще до прихода американцев, сохранил дух открытости и гостеприимства. Я обнаружил его сразу же... Его и кое-что еще. И этот дух, и это кое-что еще не оставляли меня на протяжении шести дней в самых странных местах, среди которых не было отеля «Savoy». Бог создал мир за шесть дней, а потом настал седьмой день... похмелье...

Открывая дверь своего номера, я хотел одного — поскорее упасть на кровать. Но меня, оказывается, ждали гости. Комнату из угла в угол мерили шагами мистер Спунер, редактор «Illustrated», и какой-то американский майор. Последний сжимал в руке свежий номер. Он сунул журнал мне под нос и ткнул пальцем в обложку.

«Это твоя фотография? Ты вообще понимаешь, что ты наделал?»

Снимок на обложке я узнал сразу же. Это была лучшая фотография из тех, что я снял на аэродроме. Она получилась очень хорошо.

«Конечно, — ответил я. — Это лейтенант Бишоп и его самолет».

«Какой еще к черту Бишоп!» — заорал он и злобно показал на какую-то маленькую штучку, торчавшую из носа «Летающей крепости». Эта деталька мне ни о чем не говорила, но я уже понял, что из-за нее у меня будут большие неприятности. Майор тут же подтвердил эту догадку.

«Маленькая черная штучка! Это же самая секретная деталь американских ВВС! — задышался он от злости. — Это же бомбовый прицел “Норден”!»

Откуда мне было об этом знать? У экипажей был, оказывается, строгий приказ снимать чехол с этой штучки только непосредственно перед боевым вылетом. Бомбардир Бишоп сделал это на пять минут раньше времени. Я попытался объяснить, что мой интерес к носу «Летающей крепости» был вызван лишь его схожестью с носом лейтенанта Бишоп. Спунер оправдывался тем, что у него не было возможности связаться со мной за эту неделю, поэтому он не мог попросить, чтобы я получил в американской разведслужбе разрешение на публикацию статьи. Но зато он показал ее цензорам британских ВВС, и они ничего не имели против этой маленькой черной штучки.

Номер «Illustrated» со скандальной фотографией должен был появиться в продаже через три дня. Спунер предложил отозвать и уничтожить тираж — 400 000 экземпляров, уже отпечатанных и готовых к продаже.



«Может это и спасет Вас, мистер Спунер, — сказал майор, — но это не спасет Капу. Он не имел права даже показывать вам эти фотографии без разрешения американской военной цензуры».

Спунер побежал останавливать типографию и отзывать тираж. Меня майор посадил под домашний арест и отправился писать отчет в штаб. Я рухнул на кровать, рядом с коробкой, где лежала моя новая форма военного корреспондента. Я был уверен, что открывать эту коробку мне не придется. Но я ошибся. В тот же день американская военная пресс-служба уведомила меня, что она обязана выдать мне аккредитацию, поскольку без этого я не смогу предстать перед трибуналом.

Я открыл коробку.

На следующее утро состоялись предварительные слушания в присутствии офицеров пресс-службы и военной разведки. Их задачей было определить, по какому именно обвинению меня будет судить трибунал.

Первое, что я понял, когда приехал в суд, — любые совпадения моей формы с настоящей американской формой случайны. Я опасался, что это станет той соломинкой, которая переломит, наконец, хребет верблюду.

Я доказывал свою невиновность крайне подробно и эмоционально. Но чем эмоциональнее становилась моя речь, тем менее по-английски она звучала. Офицеры сухо остановили меня посередине рассказа и начали спорить между собой. Я их прекрасно понимал. Они уже почти достигли какой-то договоренности, когда дверь вдруг распахнулась и в зал вошел начальник военной пресс-службы. Следом за ним шел лейтенант Бишоп.

Лейтенант взял слово и ловко убедил офицеров в том, что я не знаю, чем слово «ас» отличается от слова «пас», легко могу спутать бомбовый прицел системы Нордена с банкой сухпайка и вообще все это дело сфабриковано каким-то злым гномом. Офицеры, просидевшие всю жизнь за столом, не нашли в себе

смелости спорить с летающим адвокатом — по крайней мере, на начальной стадии судебного процесса. Мне объявили выговор и, выдав аккредитацию, отпустили на все четыре стороны. Мы с Бишопом немедленно отправились в бар.

«Кстати, — сказал он, выходя на улицу, — дай-ка мне адрес твоего портного!»

В редакции «Collier» и в баре «Savoy» все были в восторге от моей формы. Покрой был явно американский, но все сошлись на том, что оттенок у ткани все-таки британский колониальный.

Я решил отпраздновать получение формы. Пригласил рыжеволосую секретаршу Пэт на обещанный ужин и выпил с ней шампанского. После второй бутылки она забыла, кто я такой, а после третьей уже не могла назвать свое имя и адрес. Я понимал, что если не доставлю ее до дома, то уже не Бишопу, а самому Папе Римскому придется вмешаться, чтобы все уладить.

Мы забрались в такси, и Пэт мгновенно отключилась. Попытки разбудить ее ни к чему не привели. В кармане оставался один фунт. Я нервно следил за счетчиком, пытаюсь расшевелить Пэт. Один фунт и десять шиллингов. Я обыскал сначала все свои карманы, потом — карманы Пэт. В ее кошельке обнаружили два фунта и пригласительный билет на какую-то алкогольную вечеринку, на котором было ее имя и адрес. Я остановил такси у озера Серпентайн в Гайд-парке, дважды окунул Пэт головой в воду и довел ее до дома.

Я был невероятно пьян, счастлив, чист как ангел, горд собой и твердо намерен спиртное больше не пить, в азартные игры не играть и с рыжими девушками не водиться.

Мне нужны были гарантии, поэтому я плюхнулся за стол и написал записку Военному Корреспонденту Капе: «Никакого алкоголя. Никаких азартных игр. Никаких бомбовых прицелов. Никаких девушек». Я положил эту бумажку на гимнастерку и с блаженной улыбкой на губах уснул.

Пришло утро. Голова раскалывалась. Я не мог вспомнить, что



ЛОНДОН, январь—февраль 1943 года. Американский офицер играет с сиротами, «удочеренными» его подразделением.

произошло, пока не наткнулся на свою записку. Решив, что лучший способ избегать приключений — это не искать их на свою голову, я настроился провести время до отъезда в Северную Африку с четой Ярдли. Оставив на столе телефон, по которому меня можно будет найти, я сел на поезд и поехал в Мейденхед.

Я знал, что у Ярдли я буду в безопасности. Буду, сидя у камина, почитывать детективы, спорить о войне и России с мистером Ярдли, а в девять вечера укладываться спать.

Хозяева были рады видеть меня в новенькой форме и решили, что, поев и выпив кофе, я буду выглядеть еще лучше. Мы сели за стол: Ярдли, какая-то их гостья и я. Гостья была молода и заняла место рядом со мной, но я же не интересовался женщинами — особенно пухленькими блондинками. Отведав кофе, я объяснил, что сегодня слегка не в кондиции, поскольку накануне отмечал получение обмундирования, и что для счастья мне нужно лишь большое кресло и хорошая книга.

И вот я забрался в большое кресло, раскрыл хорошую книгу и тут же заснул. Через десять минут меня разбудили скрипучие звуки граммофона. Это маленькая, кругленькая гостья завела пластинку Тино Росси. Я скривил физиономию и сообщил, что ненавижу Тино Росси, и в этот момент понял, что эта девушка не такая уж пухленькая. На ней были широкие брюки и свитер, и я про себя отметил, что у нее, наверное, неплохая фигура. Да и волосы у нее были отнюдь не белокурые, а какие-то золотисторозовые. Я зажмурился. Она сделала музыку погромче. Когда я открыл глаза, она стояла против света. У нее был тонкий английский профиль и серо-зеленые кошачьи глаза. Я встал и пошел спать на террасу.

Когда я проснулся в следующий раз, в гостиной пылал камин, граммофон играл румбу. На гостье было обтягивающее черное платье.

«Меня зовут Элен», — сообщила она мне. Стало понятно, что снова притвориться спящим будет трудновато. Оставалось радо-

ваться тому, что я не танцую и потому смогу выполнить данные себе обещания. Она выразила надежду, что румба мне нравится больше, чем Тино Росси. В ответ пришлось указать на тот факт, что я не умею танцевать. В доказательство правдивости своих слов я предложил станцевать один раз. Она сказала, что я не так уж плохо танцую румбу и что обучить меня ей ничего не стоит. Я ответил, что за последние десять лет это никому не удавалось. Элен возразила, что у нее есть свежая идея. У меня, кажется, тоже была свежая идея, и это меня пугало.

Ярдли с супругой спустились поинтересоваться моим мнением о книге, которую они мне дали. Пришлось признаться, что вместо чтения я трачу время на уроки румбы. Я добавил, что это совершенно бессмысленно, поскольку в Северной Африке, куда я вот-вот уеду, румбу никто не танцует.

Девушка с розовыми волосами заметила, что было бы обидно умереть, так и не научившись танцевать. Ярдли согласились.

Мы выпили бутылку шампанского за Северную Африку, после чего румба стала получаться у меня заметно лучше, а девушку с розовыми волосами я стал называть «Пинки». Ее, кажется, это не задевало, однако она выключила музыку, взяла мою книгу и принялась читать. Я подошел к граммофону и завел Тино Росси.

Ярдли рассмеялись и сказали, что пойдут они лучше к себе, спать. Пинки оторвалась от книги, подняла на меня глаза и произнесла: «Ты круглый дурак, вот что я думаю».

«А ты круглая дразнила, вот что думаю я». Она возразила, что так не говорят, а я на это ответил, что у ее губ земляничный вкус.

«В Англии редко встретишь землянику, — сказала она. — Но та, что здесь растет, просто отличная. А я, кстати, не дразнюсь».

Я уже давно понял, что она не дразнится. Я был просто счастлив, что она существует и что я нашел ее.

Зазвенел телефон, спросили меня. На том конце провода был отель «Savoy». Мне сообщили, что ищут меня уже два часа, а капитан Крис Скотт из американской военной пресс-службы

названивает каждые пять минут. Я положил трубку и попросил Пинки отвезти меня на станцию.

По дороге я рассказал ей, как счастлив, что еду в Северную Африку, что во мне течет цыганская кровь, что я журналист и к тому же враждебный иностранец. Потом добавил, что я очень рад, и что мне очень жаль, и что она так безумно хороша. Она абсолютно ничего не ответила, высадила меня у станции и умчалась, не попрощавшись.

Крис Скотт, весьма приятный молодой капитан, извинился и сказал, что напрасно я сорвался в Лондон среди ночи — мог бы приехать и на следующий день. Я заверил его, что, наоборот, в определенном смысле очень хорошо все вышло, и он позвонил как раз вовремя, так как единственное, о чем я сейчас мечтаю — поскорее отправиться в Северную Африку. Я рассказал ему про Пинки.

Он вынул бутылку шотландского виски и предложил выпить за мой успешный побег. Я заметил, что это повкуснее земляники. Он многозначительно сказал, что любит землянику, и если я собираюсь в Северную Африку, то он, вероятно, остается в Лондоне. Я признался, что про эту девушку мне известно лишь, что ее следует называть Пинки. Выяснить фамилию и телефон я забыл.

Крис расстроился, а я подумал, что мне и самому, конечно, очень обидно не знать имени, адреса или телефона Пинки, но если бы я и знал, то ни с кем бы не стал этими знаниями делиться.

Следующим утром я позвонил Ярдли, чтобы поблагодарить их и попрощаться. Как бы невзначай я спросил, можно ли позвать к телефону Элен, но мистер Ярдли ответил, что она уже уехала в город. Сам он не стал больше ничего про нее рассказывать, а я не стал спрашивать.

У меня была куча дел в тот день. Американская армия выдала мне распоряжения, британская — разрешение на выезд. Мне сказали, что если я хочу когда-нибудь вернуться в Англию, то мне будет нужна новая виза: к сожалению, даже в американской форме я оставался гражданином Венгрии.

Поезд на Глазго, где мне предстояло сесть на корабль, отправлялся в тот же день в 19:30 с вокзала Юстон. Я приехал туда довольно рано и, решив, что имею право отпраздновать свой отъезд, отправился в бар. Там было очень людно. Единственное свободное место было за столиком, у которого сидела какая-то одинокая девушка. Нет-нет, она не была пухленькой, не была блондинкой. У нее были розовые волосы. Она посмотрела на меня и сказала: «Я так и знала, что ты придешь заранее». Она не стала рассказывать, откуда она узнала про мой поезд. Я спросил у официантки, есть ли шампанское. Она принесла бутылку. Мы выпили, и Пинки запела грустную французскую песенку «J'attendrai». Всплакнула даже официантка. Когда мы вышли на перрон, уже пора было садиться в поезд. Какой-то морячок высунулся в окно и, заняв собой весь проем, целовал на прощанье свою девушку. Поезд должен был вот-вот тронуться. Я закричал: «Дружище, делиться надо!»

Он, не оборачиваясь, ответил: «Янки, я свою девушку ни с кем делить не собираюсь!» — «Да не девушку! Окно!»

Он подвинулся, и то, что должно было свершиться, свершилось. Ее губы по-прежнему хранили земляничный вкус. Я уселся на свое место. Я по-прежнему не знал ее имени и номера телефона.

IV

Весна 1943 года

В Алжир я приплыл на обычном военно-транспортном корабле. На нем в Северную Африку везли шотландскую дивизию для усиления войск, участвующих в весенней кампании и давно уже запланированном взятии Туниса.

За время плавания я успел очень привыкнуть к своей форме. Да и все остальные тоже к ней привыкли. Все, кто был на борту, были готовы к странностям войны, и я с моим акцентом стал для них одной из таких непонятных примет военного времени.

На этот раз никому не было дела до моих фотокамер и документов. Никто не спрашивал, откуда я взялся. Офицер, отвечавший в Алжире за связи с общественностью, сказал, что линия фронта проходит в сотнях миль от того места, где мы находились, в горах Туниса, а масштабное наступление может начаться в любую минуту. Мне выдали джип с водителем, спальник, и мы тронулись в путь. Я надеялся, что смогу нагнать войну.

Мы ехали целые сутки и наконец прибыли в штаб армии в Ферриане. Атака к этому времени уже началась, и наши танки пробились в Гафсу.

Потрясенный неожиданно быстрым развитием событий, я отправился с моим водителем догонять 1-ю танковую дивизию. К

концу дня мы доехали до деревни Гафса. По крайней мере, хвост войны я поймал. Прежде чем продолжить гонку, я решил хорошенько выспаться.

Меня расквартировали в здании арабской школы. Весь пол в кабинете был занят спальными мешками, свободным оказался только один пятачок у самой стены. Я расстелил спальник и залез в него. Мне приснился сон, будто я догнал танковую дивизию у самой границы с Тунисом. Запрыгиваю на танк, возглавляющий колонну. Я единственный фотограф, которому удастся сфотографировать захват Роммеля. Мы в центре города... Взрывается бомба... Мое лицо обожжено...

Я проснулся и попытался открыть глаза. Все лицо горело, разжать веки было невозможно. Должно быть, пока я смотрел свой героический сон, меня ранило. Я завопил, прося о помощи, и услышал, что кто-то приближается к моему спальнику.

«А чего ты ожидал, идиот? — воскликнул этот кто-то. — Ты что, не знаешь, что в арабском доме тот, кто лежит у стены, — главная добыча клопов?»

Я пальцами раздвинул веки, спрятал лицо под темными очками и вышел на улицу в поисках моего водителя.

Мы снова двинулись в путь. Что-то мне начинала не нравиться эта война. Жизнь военного корреспондента оказалась не такой уж романтичной. Мы несколько часов тряслись по ужасной, ухабистой дороге, идущей через безжизненную пустыню. За все это время мы не встретили ни души: ни своих, ни врагов. Лишь иногда попадались бесполезные куски военной техники, брошенной немцами.

Пришло время остановиться по одному неотложному делу. Однако с учетом того, что случилось ночью, у меня не было ни малейшего желания искать для этого еще какие-нибудь культурно-просветительские учреждения. Девушек поблизости явно не было, а перед глазами все расплывалось, так что я не собирался отходить далеко от джипа. Присмотрев гостеприим-

ЭЛЬ-ГУЭТТАР, ТУНИС, март 1943 года





МАКНАССИ, ТУНИС, 22 марта 1943 года. Американский солдат дает прикурить местному жителю.

ные заросли кактуса в нескольких ярдах от дороги, я побежал к ним.

Всё бы было хорошо с моим африканским кактусом, если бы не маленькая деревянная табличка, растущая в его тени. Она росла очень быстро, и чем больше становилась, тем шире открывались мои глаза. Табличка была на немецком, но понять ее было несложно. Сквозь темные очки я прочел: «ACHTUNG! MINEN!»

Я не отпрыгнул, не пошевелился — я боялся что-либо предпринимать. Надо было как-то спастись, но любое неосторожное движение могло привести в действие фугас. Я крикнул водителю, что попал в затруднительное положение. Что я стою посреди минного поля. Его, похоже, это позабавило, однако мне было не до смеха. Я не решался пойти обратно по своему следу, потому что мины, не сработавшие с первого раза, теперь могли передумать и взорваться. Я уговорил водителя привезти кого-нибудь с миноискателем.

Я попался в западню со спущенными штанами. В таком виде я и бросал вызов смерти, стоя рядом с глупым кактусом среди безжизненной, беззвучной пустыни, пригвожденный к песку. Даже мой некролог был бы неприличным.

Спустя несколько часов водитель вернулся с саперами и фоторепортером «Life». Пока меня разминировали, парень из журнала снимал. Он сказал, что нашу атаку отложили, так что фотографии со мной будут, несомненно, самыми интересными за этот день.

Роммель с помощью ударной танковой дивизии «Герман Геринг» остановил наше продвижение. Разочарованным журналистам пришлось вернуться и разбить лагерь в небольшом оазисе в нескольких милях от Гафсы.

К вечеру уже весь этот лагерь знал о моем происшествии. Корреспондентам еще нельзя было писать об остановленной атаке, поэтому мое небольшое приключение стало самым популярным сюжетом в отделе «писем с фронта». Наблюдая за тем, как журналисты строчат письма своим женам и возлюбленным,

я вспомнил про Пинки. Но к счастью, я не знал ее адреса. Я не был уверен, что это достаточно захватывающая история.

Около полуночи генераторы, питавшие электричеством лагерь, закашлялись, и мы отправились спать. Я убедился, что в том уголке Сахары, где я намеревался провести ночь, нет фугасов и клопов, и уснул, не желая смотреть никакие сны. Но я все-таки увидел сон. В нем были красные и зеленые всполохи в темном небе, раскаленные пули, разрывающиеся бомбы... полный набор фантастических видений. Я перевернулся на другой бок.

Проснувшись утром, я обнаружил, что надо мной нет палатки. Ночью лагерь бомбили. Взрывной волной унесло все палатки, но никто не пострадал. На меня смотрели с завистью и восхищением: во время ночного налета я даже не пошевелился. Эпизод на минном поле был забыт и прощен.

Билл Лэнг из «Time» и американский военкор Эрни Пайл взяли меня в свой джип. Оба были ветеранами североафриканской кампании. Они пообещали найти ровно столько войны, сколько мне потребуется для хорошего самочувствия и хороших фотографий. На сей раз путь оказался короче, а дорога — значительно лучше. Мы ехали в Эль-Гуэттар, где 1-я пехотная дивизия сдерживала основной удар немецкой контратаки.

Войны нашлось немало еще до того, как мы добрались до фронта. Немецкие самолеты постоянно обстреливали дорогу, так что каждые несколько минут нам приходилось останавливать джип и прыгать под откос.

ЭЛЬ-ГУЭТТАР, ТУНИС, 23 марта 1943 года. В этот день американские войска под командованием генерала Джорджа С. Паттона вступили в крупную битву с участием танков и пехоты, в результате которой американская армия одержала первую решающую победу над немцами.



Скучно, скажем прямо, не было, но я не сделал ни одной фотографии.

Биллу и Эрни надо было в штаб дивизии, а мне не терпелось начать снимать, поэтому дальше я отправился пешком. Мои спутники сказали, чтобы я шел прямо, пересек два маленьких джебеля (так арабы называют свои холмы) и спрятался в вади (это арабская долина). «Спросишь у любого встречного, где тут война, — успокоили они меня, — небось не пропустишь».

Я нашел и джебели, и вади. 16-й пехотный полк занял хорошую позицию — солдаты писали письма и читали книжки в глубоких окопах. Я поинтересовался у них, где тут найти войну. Они показали на следующий джебель. Как только я попадал в вади, мне показывали на джебель, а с каждого джебеля отправляли в вади.

Наконец на вершине самого последнего и самого высокого холма я обнаружил около пятидесяти солдат, предававшихся безделью и разогревавших банки с консервами из своих пайков. И ни капли энтузиазма на лицах. Я подошел к лейтенанту и спросил, где тут стреляют. «Сложно сказать, — ответил он. — Но мой взвод продвинулся дальше всех вглубь фронта».

В утешение он протянул мне банку консервов из боевого пайка. Я уже готов был вгрызться в отвратительного вида тушенку, как надо мной просвистел снаряд. Я распластался по земле, изрядно заляпавшись мясом и фасолью. Ну ладно, снаряд действительно был немецкий, но упал он в нескольких сотнях ярдов от нас. Когда я поднял голову, лейтенант смотрел на меня сверху вниз. При звуке летящего снаряда он даже не пошевелился. Он был очень доволен собой. Я робко поднялся, стряхнул с себя фасоль и сказал, что, на мой взгляд, эта война напоминает стареющую актрису: она становится все более опасной и все менее фотогеничной.

Заслышав свист следующего снаряда, лейтенант все-таки пригнулся. Немцы разошлись не на шутку. Сперва они побрили наш холм своей артиллерией, потом прямо к подножию нашего джебеля подошли пятьдесят танков и два пехотных полка. Мы

выдвинули противотанковые самоходки и начали бить по немцам, находившимся в зоне прямой видимости.

Места на наших трибунах заняли три генерала, пожелавшие лично поддержать команду: Паттон, командовавший 2-м корпусом, а также Терри Аллен и Тедди Рузвельт, стоявшие во главе 1-го дивизиона. После каждого попадания по немецкому танку из-под шлема Паттона, украшенного тремя звездами, доносилось довольное урчание; Терри Аллен хватался за рацию и выкрикивал приказы; Тедди Рузвельт со счастливым видом крутил свою трость.

К концу дня немцы отступили, оставив на поле боя 24 выгоревших танка и очень много очень мертвых солдат.

Я сфотографировал все, что мог: пыль, дым и генералов. Но ни на одном снимке не было напряжения и драмы боя, хотя все это я ощущал и видел.

Наше наступление в направлении моря и Туниса захлебнулось, однако нам все же удалось удержаться на занятых позициях. Мы не отошли назад и не сдали Гафсу. Первый дивизион три недели дрался с врагом на джебелях в Эль-Гуэттаре, а я ежедневно снимал одно и то же: пыль, дым и смерть.

После захода солнца мы возвращались в пресс-лагерь. Корреспонденты печатали свои статьи, я отправлял фотографии. События минувшего дня никто не обсуждал. Мы пили алжирское вино и болтали о «девушках, которые нас ждут». У каждого была самая удивительная и прекрасная женщина на свете. В доказательство этого по ходу рассказа из кармана вытаскивалась размытая, выцветшая фотография, на которой ничего нельзя было разобрать.

А я просто сказал, что у моей девушки розовые волосы.

Все эти потрепанные зануды, которые только что невозмутимо слушали восторженные басни об оставшейся дома выцветшей красоте, дружно разразились омерзительным хохотом. «Девушек с розовыми волосами не бывает!» — заявили они, а потом

добавили, что правила хорошего тона предписывают врать с чувством собственного достоинства про блондинок, брюнеток и рыжих — как делают все остальные. У меня не было фотографии, чтобы подтвердить мои слова.

Однако спустя несколько дней посыльный доставил нам из Алжира почту, и там была коробка для меня. В ней, завернутая в салфетки, лежала английская кукла. Кукла с розовыми волосами. Существование моей девушки больше никто не ставил под сомнение.

Изо дня в день я ползал по одним и тем же джебелям вокруг Эль-Гуэттара и снимал одни и те же картинки. Это было бесполезным, опасным и однообразным занятием. Поэтому, получив предложение полетать на самолете и продолжить обучение игре в покер, я с радостью согласился — все интересней, чем карабкаться по горам. Звал меня старый знакомый — лейтенант Бишоп. Он написал, что его 301-я группа бомбардировщиков переброшена в Северную Африку и что ему разрешили брать с собой на любые задания военных корреспондентов.

«Летающие крепости» за это время поистрепались, на мундирах пилотов появилось много орденских лент, только покер остался таким же, как был. Да и я не изменился — в первый же вечер продулся в пух и прах.

Наутро нас отправили на задание. Целью были немецкие корабли, сосредоточенные в порту Бизерты. Я полетел с лейтенантом Джеем: накануне он сорвал большой куш, и я рассчитывал, что он захочет сберечь свой выигрыш и будет действовать аккуратно.

У нашего самолета было прозвище «Головорез». Лейтенант Бишоп на своем «Злом гноме» летел справа, едва не касаясь нас крылом. В небе было хорошо и скучно. Кислородные баллоны спасали нас от похмелья, а холодный воздух на высоте в двадцать тысяч футов был приятной альтернативой африканской жаре, стоявшей внизу.

По мере приближения к цели становилось все горячее и веселее. Разрывы зенитных снарядов трясли наш самолет так,

словно черный пороховой дым сплелся в ковер и на нем-то нас и подбрасывало. Мы летели ровным строем до самой цели, и только распахнув брюхо самолета и сбросив оттуда на корабли наши «яйца», мы услышали, как Бишоп кричит по радиации: «Хай-лоу!». После этого мы нарушили стройный боевой порядок. Свернули в сторону, нырнули вниз, потом снова набрали высоту, оставляя позади пятнышки дыма и горящие корабли. Потом полетели над самой водой. Теперь можно было убрать кислородные баллоны и расслабиться. Мы принялись шутить — напряжение явно спало.

Все игроки вернулись с задания и вечером снова сели за покер. Отыгаться мне не удалось, и я решил остаться еще на денек. Я летал пять дней. Фортуна не изменяла мне ни над Тунисом, ни над Неаполем, ни над Бизертой. Нам выдали новую цель: Палермо. Здесь зенитки били куда сильнее. В небе нас поджидали два эскадрона немецких истребителей. Это были крошечные серебристые точки, плывущие где-то высоко над нами. Потом они взмахивали своими сверкающими крыльями, пикировали и превращались в уродливых шипящих монстров. Их пули пробивали наши крылья с точностью швейной машинки. «Головореза» подбили. Лейтенанту Джею удалось выровнять самолет почти у самой воды. Впрочем, три из четырех моторов уверенно продолжали работать, и до базы мы добрались без особых проблем.

Большинство самолетов шло перед нами. Мы до темноты ждали на взлетно-посадочной полосе возвращения остальных машин и не сели в тот вечер за карты. Один из игроков не вернулся.

На следующий день я покинул аэродром. За участие в пяти боевых заданиях на вражеской территории меня представили к награде Авиационной медалью. И я едва не удостоился «Пурпурного сердца» — за пять вечеров покера.

Пока я летал на бомбардировщиках, умудрился пропустить наше решающее успешное наступление. Немцы внезапно потерпели поражение, и мы вошли в Тунис.

Празднование победы оказалось делом приятным и изнурительным. На улицах Туниса нас целый день целовали пожилые женщины, а мы опустошали стакан за стаканом. В большом современном здании для нас нашлись прекрасные апартаменты, где все дописали свои статьи, после чего началось настоящее празднование. Вина из гестаповского склада оказалось вполне достаточно, чтобы не дать пересохнуть нашим орущим глоткам.

Около полуночи в дверь постучали, и в комнату вошел величавый француз. «Милостивые господа! — возопил он. — Три месяца вы ежедневно бомбили нас. На это я не жаловался. Я все понимаю — c'est la guerre. Но теперь настало мирное время: моя жена и дочь хотят спать».

Мы влили стакан немецкого бренди в горло храбро сопротивлявшегося француза и пообещали, что мирное время непременно наступит завтра. Я выудил из рюкзака куклу с розовыми волосами и вручил ее этому человеку, попросив передать подарок его сонной дочери.

Похмелье после победы всегда сильное и болезненное. Наша война временно прекратилась. Вина не осталось ни капли, а все милостивые девушки Туниса были заперты отцами в своих комнатах. Мы грели кофе из неприкосновенного запаса и готовили завтрак. В этот момент Билл Лэнг отвел меня в сторону. Он сообщил, что по его сведениям следующее военное вторжение планируется по меньшей мере через четыре недели, и вообще войне еще конца-края не видно, а заставлять девушек тосковать в одиночестве в Лондоне очень опасно. И добавил, что через пять дней будет корабль на Англию.

Спустя два дня я уже сидел в приемной британского консульства в Алжире. Консул — типичный сухарь-чиновник. Было видно, что ему уже надоели и французы, и арабы, а с янки не хотелось возиться и подавно.

«Вы — американец и служите в армии. У Вас есть командировочные предписания, поэтому виза Вам не нужна».

«Я не американец и лишь тесно связан с армией, но не более. Мне очень нужна виза».



ТУНИС, апрель 1943 года. Американский ас в кабине своего истребителя, сбившего девять немецких самолетов и один итальянский.



Он просмотрел документ, выданный британским консулом в Нью-Йорке. «В высшей степени незаконно, — заметил он сухо. — Вольности, допускаемые некоторыми консульствами, очень трудно понять». Он говорил, не поднимая глаз. «Какова цель Вашего визита в Англию?»

«Исключительно сентиментальная, сэр».

«Даю Вам четыре недели. Пошлина — один фунт и десять шиллингов».

КОНСТАНТИНА, АЛЖИР, май 1943 года. Военнослужащие 301-й группы бомбардировщиков после вылета на дневное задание. Шасси самолета было снесено выстрелом, однако пилоту удалось совершить успешную посадку на «брюхо».

Отправление откладывалось много раз, но, наконец, через 16 дней мы с Биллом Лэнгом приплыли в Ливерпуль. Было воскресное утро. До Лондона мы добрались к полудню и разошлись по своим делам. Билл отправился в самый лучший отель, а я сел на поезд и поехал в Мейденхед.

Итак, опять было воскресенье. Поместье Ярдли выглядело точно так же, как полгода назад. Но на этот раз, стучась в двери, я волновался чуть сильнее. Мне открыл мистер Ярдли. «Ты приехал как раз к чаю!»

В гостиной горел камин. У Ярдли гостила какая-то женщина, но волосы у нее были не розовые. Меня расспросили про Северную Африку. Я сказал, что война там очень скучная. На это мне вежливо ответили, что и в Англии война очень скучная. Я неторопливо подошел к граммофону. Миссис Ярдли следила за мной, не поворачивая головы. Она спросила невзначай: «Преуспел ли ты в занятиях румбой, будучи в Африке?»

«Мне нужно взять еще несколько уроков», — весело ответил я. «Я знаю, как это организовать».

Мы закрыли эту тему, и я вздохнул с облегчением. Погово-

рили о погоде и военных пайках. Дождавшись паузы в беседе, я взял пластинку Тино Росси. «Кстати, — обратился я к Ярдли, — как поживает та светловолосая девушка, которой так нравились эти ужасные записи?»

«Элен Паркер? Ну, в последнее время она эти пластинки не заводит. Она должна была приехать сегодня, но по воскресеньям у нее ночное дежурство в Министерстве информации. Она, знаешь ли, там работает».

После обеда я сказал, что мне пора возвращаться в город. Никто меня не удерживал. Путь из Мейденхеда в Лондон показался мне более длинным, чем из Северной Африки в Англию.

С вокзала я позвонил в Министерство информации. Мне сообщили, что мисс Паркер работает в американском отделе и придет на службу в полночь. Значит, еще два часа...

Я нашел Билла в отеле «Claridge's». Он заказал для нас номер с двумя спальнями и гостиной. Телефон его девушки не отвечал весь день. Думая, что мне судьба тоже не улыбнулась, он предложил мне виски.

«У меня свидание в полночь», — сказал я.

Мне надо было счистить с себя шестимесячную североафриканскую грязь. В полночь я поднял трубку, позвонил в американский отдел министерства и стал ждать ответа.

«Американский отдел. Мисс Паркер у аппарата».

«Какого цвета у Вас волосы, мисс Паркер?»

«Кто говорит?»

«Какая Ваша любимая песня, мисс Паркер?»

«Где ты?»

«Мне кажется, я чуть-чуть влюбился».

«Ты страдаешь?»

«Жду тебя в буфете через 15 минут».

Когда она вошла в буфет, я стоял возле барной стойки, положив голову на руки, и пиялся на бутылки, расставленные на полках. Она сразу подошла ко мне:

«Здравствуй».

«У тебя по-прежнему розовые волосы».

«Если бы ты заставил меня еще подождать, они бы стали седыми».

«А ты ждала?»

«Нет, я вышла замуж и родила шестерых детей».

«Надеюсь, они полюбят меня».

Мы вышли из бара, даже не прикоснувшись к вину. Обошли вокруг здания. Заходя в него, она сказала: «Приходи к восьми утра», — и убежала.

Улицы Лондона в восемь часов серы и пустынные. Мы нашли кафе, она заказала бекон, помидоры и чай с гренками. На сей раз мы были очень серьезны.

«Ты вернулся, потому что я ждала тебя?»

«Да».

«Ты останешься?»

«Нет».

«Ты любишь бекон с помидорами?»

«Но я бы хотел остаться».

Я рассказал, что мне нужно возвращаться на войну, но потом я приеду обратно. Я объяснил, что дело не только в войне: у меня такое положение, что не знаешь наверняка, чего ждать на следующий день.

«Я очень симпатичная».

«Кто это тебе сказал?»

«Так говорят все, с кем я встречаюсь».

«Почему ты ждала меня?»

«Я так решила, как только тебя впервые увидела».

«Ты и сейчас не дразнишься?»

«Оплати счет, пожалуйста».

Было 9 утра. Надо было заехать в редакцию «Collier», чтобы сказать о своем приезде и о том, что я беру недельный отпуск. Пинки выразила надежду, что ей тоже удастся взять отпуск. В «Savoy» мы поехали вместе.

Редакция журнала была по-прежнему в отеле, но Квентина там уже не было. Парень, который его замещал, сказал, что у

него для меня есть телеграмма из нью-йоркской редакции. В ней было написано следующее:

ФОТОГРАФИИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ ПРЕКРАСНЫ ТЧК ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО НАСТАИВАЕТ НА ПЕРЕДАЧЕ ИХ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ТЧК ВАШИ ФОТОГРАФИИ ДОСТУПНЫ ВСЕМ ДО ТОГО КАК МЫ ИХ НАПЕЧАТАЕМ ТЧК СОЖАЛЕЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ОТОЗВАТЬ ВАС НЬЮ-ЙОРК ТЧК ОПЛАТИМ БИЛЕТЫ ВЫДАДИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ

COLLIER НЬЮ-ЙОРК

Я перечитал текст трижды, потом отдал телеграмму Пинки. Я спросил работника «Collier», когда он получил ее. Оказалось, тем же утром. Я поинтересовался, знает ли про телеграмму кто-нибудь, помимо него. Он ответил отрицательно. Надо было быстро соображать, что делать дальше. Вместе с работой я теряю аккредитацию военного корреспондента. Мне придется вернуться в Штаты, а с моими документами я оттуда никогда потом не выберусь. Значит, надо найти работу до того, как о моем увольнении узнают военные. Я описал ситуацию парню из «Collier». Он извинился и сказал, что не знает, чем тут можно помочь. Я попросил его подождать до полудня и дать мне шанс оглядеться и узнать, каковы мои шансы на трудоустройство в других журналах. Ему эта идея явно не понравилась, но возражать он не стал.

«Иди, — сказала Пинки, — я подожду тебя здесь».

Я взял такси и поехал в редакцию «Life».

Мои отношения с этим журналом были далеко не идеальными. За шесть лет сотрудничества меня дважды увольняли и один раз я увольнялся сам. Но с Кроки, которая заведовала лондонским офисом, меня связывала давняя дружба. Она была рада меня снова видеть и почти не удивилась, узнав о моих проблемах. Она сказала, что быстро найти работу мне вряд ли удастся. «В нью-йоркской редакции, — заметила она, — узнав о том, что ты опять остался на улице, наверняка решат, что тебе уже давно пора свыкнуться с таким положением». Вместе с тем у нее были

сведения, что очень скоро в Средиземноморье начнется большая заварушка. Если я вернусь в Африку до того, как военные прознают о моем увольнении, и смогу извернуться и первым снять сенсационные кадры, тогда мои проблемы как-нибудь решатся. Задача была предельно ясна и почти невыполнима, но — попытка не пытка.

Кроки отправила в нью-йоркское бюро «Life» телеграмму, в которой было сказано, что Капа жутко недоволен сотрудничеством с «Collier» и его вынуждают уволиться.

Я помчался обратно в «Savoy». Когда я вошел в редакцию, Пинки восседала на столе рядом с телефоном. В углу комнаты притаился несчастный сотрудник «Collier». Он был на грани нервного срыва.

Я сказал, что все уладил, и если этот парень выждет еще двое суток и не станет сообщать военным о том, что меня уволили, то я сделаю его крестным отцом своих детей. Он ответил, что если мы немедленно уберемся из его офиса, то он как минимум на трое суток будет рад забыть наши имена.

Рядом с «Savoy» находится лучший ресторан Лондона — «Boulestin». Мне надо было поговорить с Пинки, и мы отправились туда перекусить. В ресторане по-прежнему подавали очень недурное шампанское, и я предложил выпить за мой скорый отъезд.

«Насколько скорый?»

«Я уеду сегодня вечером. Так надо».

Ее глаза заблестели от слез и шампанского. Я рассказал ей о хитром плане трудоустройства в журнал «Life» и о том, что мне было бы неплохо с помощью моего друга Криса Скотта, сотрудника пресс-службы военно-воздушных сил, забронировать местечко на самолете. После того как мы поели, я позвонил в пресс-службу. Криса Скотта уже направили куда-то в Северную Африку!

Пинки закусила пальчик и, подумав пару секунд, произнесла: «Кажется, я знаю, что делать».

Она велела мне бежать за разрешением на выезд и явиться к 17:30 в клуб «Mayfair».

Служащий паспортного бюро с большим подозрением отнесся к тому, что, прибыв в Англию в воскресенье, в понедельник я уже хотел отправиться обратно. Я сказал, что не имею права вдаваться в подробности, поскольку они имеют отношение к военным действиям. Он был впечатлен и выдал документы без дальнейших вопросов.

Пинки приехала в клуб в 6 вечера, заказала вина и сообщила, что я могу ехать. Она все устроила.

В аэропорту надо было оказаться в 6:30. Я заверил Пинки, что скоро вернусь.

«Да уж, было бы неплохо».

Я поинтересовался, что она будет делать вечером, после того как я улечу.

«Ты, мерзкий венгерский болван! Я буду обедать с офицером, который устроил тебе перелет, чтобы я была свободна этим вечером!»

Она весело поцеловала меня и убежала.

Сидя в темном самолете, уносящем меня из Англии в Северную Африку, я был абсолютно уверен в своей любви к Пинки. Теперь я знал ее имя и адрес. У меня даже была ее фотография.

VI

Белый город Алжир с высоты казался еще более белым, а синяя гавань выглядела черной, она была забита судами всех мыслимых типов и размеров.

В отделе по связям с общественностью при штабе Эйзенхауэра я обнаружил пустынную комнату для журналистов: привычная толпа газетчиков куда-то испарилась, не было видно и офицеров пресс-службы. Я попытался выяснить, в чем дело, но дежурные сержанты ничего внятного ответить не смогли. Они лишь сообщили, что офицеры пресс-службы находятся в полевом штабе Эйзенхауэра. Я попросил соединить меня по телефону. Мне сказали, что это невозможно, так как пресс-служба уже сутки как закрыта.

Выводы было сделать нетрудно: боевые действия должны начаться с минуты на минуту, гораздо раньше, чем я ожидал. Я опоздал. Я пропустил момент начала операции, а значит, не сделаю сенсационные кадры и останусь без работы. Известие о том, что я уволен, настигнет военных, когда я буду здесь, в Алжире. Все хлопоты были напрасны. Разница лишь в том, что домой меня отправят не из Лондона, а отсюда.

Я бродил по пресс-службе, отчаянно надеясь, что меня, как обычно, спасет чудо. И оно свершилось, когда я зашел в убор-

ную. Там я встретил своего коллегу, военного фотографа, в пре-скверном состоянии. Он страдал от «солдатки» — поноса, вызванного боевым пайком, — и так часто бегал в туалет, что не мог никуда поехать. Он рассказал, что тренировался несколько месяцев, чтобы прыгнуть с парашютом вместе с десантной дивизией во время ее первого крупного боевого задания. Его послали снимать Сицилийскую операцию, но он заболел, и в последний момент ему пришлось вернуться.

Настроен он был весьма философски. Он не особенно любил прыгать с парашютом. Я понял, что это мой шанс одной диареей убить двух зайцев. Я спросил, смогу ли я подменить его. Он отправил запрос в штаб десантников, за мной прислали самолет, и я полетел на импровизированный аэродром близ Каируана, посреди тунисской пустыни. Там стояли сотни транспортных самолетов и планеров, готовых взлететь в любой момент.

Меня отвели в палатку для прессы. Там я обнаружил своего лондонского знакомого — капитана Криса Скотта. Он стал офицером пресс-службы 9-го транспортно-десантного авиационного подразделения. Я рассказал, что со мной произошло.

«И что, ты по-прежнему враждебный иностранец и по-прежнему бегаешь за девушками с розовыми волосами?» Я показал фотографию Пинки. Он долго смотрел на нее, потом сказал: «Очень печально, что тебя убьют во время этой операции. Мне придется лететь в Лондон и расстраивать девушку с розовыми волосами. Но для тебя, Капа, я это сделаю».

Он представил меня командующему 82-й воздушно-десантной дивизией генерал-майору Риджвею. Тот был весьма приветлив.

«Если ты хочешь прыгнуть с парашютом и снять мою дивизию в бою, то мне все равно, кто ты по национальности — венгр, китаец или еще кто. Тебе раньше доводилось прыгать?»

«Нет, сэр».

«Ну, это не самое естественное занятие, но ничего сложного».

Когда мы вернулись в палатку, Крис ввел меня в курс дела. Пунктом назначения была Сицилия. За шесть часов до высадки морского десанта туда перебросят нашу дивизию. Воздушное

десантирование назначено на час ночи, а баржи подойдут к берегу на рассвете.

У Криса появилась идея. Он предложил мне занять место в самолете, который полетит впереди остальных, и сфотографировать летящих парашютистов. Самому при этом выпрыгивать не надо — обратно я смогу вернуться на том же самолете. Если мне удастся снять первого выпрыгивающего парашютиста, то у меня будет фотография первого американского солдата, ступившего на сицилийскую землю. Мой самолет вернется в три часа ночи. Мы проявим пленку и отправим в Америку радиограмму. Фотографии придут туда раньше, чем новость о начале операции! Мои снимки появятся на первых полосах газет.

Мне нравились все детали этого плана. Скотт становился мне все более и более симпатичен.

Вскоре нас позвали на инструктаж. Пилотам и офицерам парашютистам описали все фазы предстоящей операции. Нам сказали, что в пункте назначения нас могут встретить зенитным огнем — там много немцев. «Тут-то каждый и вспомнит о душе». Убедившись, что каждый понял свою задачу, нас отвезли к самолетам.

Крис попрощался со мной и сказал, что будет ждать моего возвращения на аэродром. Фотографию Пинки я ему не отдал, но на всякий случай оставил ее адрес. Мы взлетели.

В самолете было восемнадцать парашютистов. Прыгать вместе с ними я не собирался, поэтому устроился в носовой части, чтобы не оказаться у них на пути, когда придет время десантироваться. Свет был выключен, но против использования вспышки никто не возражал. Когда мы долетим до цели, будет столько света от взрывов, что на этом представлении мою лампочку никто не заметит.

Мы летели над самым Средиземным морем. Самолет трясло нещадно. Внутри было темно и тихо. Большинство десантников либо спали, либо сидели, закрыв глаза.

Скоро я услышал какие-то странные звуки. Это у нескольких солдат началась страшная рвота — кажется, они уже начали



В САМОЛЕТЕ ПО ПУТИ ИЗ КАИРУАНА (ТУНИС) НА СИЦИЛИЮ, июль 1943 года. Американские парашютисты перед началом Сицилийской операции союзнических войск.

«вспоминать о душе». Парень, сидевший рядом со мной, всю дорогу молчал, но теперь вдруг повернулся ко мне и спросил: «А ты вправду гражданский?»

«Да», — ответил я.

Он снова ушел в себя, но минут через пятнадцать обратился ко мне опять: «Ты хочешь сказать, что сам захотел сюда попасть, тебя никто не заставлял?»

«Так и есть», — ответил я, а про себя добавил: «Если б ты только знал...»

Он снова умолк. На этот раз пауза была короче: «То есть, если бы ты захотел, то мог бы вместо всего этого сегодня вечером улететь в Штаты?»

«Вероятно, да».

Наконец, он спросил напрямую: «Сколько ж тебе за это платят?»

«Тысячу в месяц», — соврал я.

Больше у него уже не было времени размышлять о моей работе. Из темноты показалась наша Земля Обетованная, озаренная светом горящих домов и бочек с маслом. Здесь получасом ранее прошли наши бомбардировщики, которые должны были произвести впечатление на вражескую «приемную комиссию».

Впечатление, по-видимому, оказалось недостаточно сильным: немцы методично заполняли небо разноцветными трассирующими пулями. Уворачиваясь от них, наш самолет нырял то влево, то вправо.

Зажглась зеленая лампа. Это был сигнал для парашютистов. Он означал, что пора готовиться к прыжку. Солдаты поднялись и выпрямили вытяжные фалы своих парашютов. Я приготовился снимать. Зажглась красная лампа — сигнал к отделению. Мой сосед прыгал последним. Он повернулся ко мне и крикнул: «Мне не нравится твоя работа, дружище! Она слишком опасная!» Он выпрыгнул, и самолет опустел.

Я остался один на один с восемнадцатью вытяжными фалами, болтающимися на ветру в проеме открытой двери. Мне было

безумно одиноко. Я бы немало отдал за возможность вместе с этими парнями плыть по воздуху сквозь темноту.

Крис ждал меня на летном поле. Он собрал в маленькой палатке импровизированную фотолабораторию. Жара под черным тентом стояла невыносимая. Чтобы проявитель не вскипел, Крис приказал сержанту принести из столовой два огромных куска льда. Тот противился: лед предназначался для приготовления мороженого.

Раздевшись, мы начали работать. Пот капал с нас прямо в проявитель. К тому моменту, когда у нас получились первые отпечатки, весь лед растаял. Мы откинули полог палатки, и в нее из пустыни ворвался прохладный вечерний бриз. Крис подогнал джип к палатке. Мы натянули на свои мокрые тела рубашки и штаны и помчались на полной скорости по пустой дороге. Мы ехали в Тунис, в пресс-лагерь, где ради сицилийского шоу усадили цензоров с радиоустановкой.

Крис сосредоточенно вел машину по вечерней дороге, утыканной воронками от взрывов, а я тем временем решил посмотреть свои снимки. Они были слегка нерезкими, немножко недодержанными, да и композиция их была далека от совершенства. Но это были первые фотографии высадки в Сицилии. Редакции получают их за несколько дней до того, как фотографы, работающие на флоте, доберутся до берега и смогут передать свои репортажи.

К 7:30 мы доехали до Туниса. Цензоры беспрекословно передали изображения по радиосвязи. Мы вошли в столовую пресс-лагеря, и в тот же миг по громкоговорителю официально объявили о начале операции в Сицилии. Журналисты, услышав эту новость, повскакивали со своих мест, а я негромко сказал, что как раз только что с Сицилии. Меня окружили охотники за сенсациями, я оказался в центре внимания как единственный источник информации. Меня расспрашивали о деталях. Я дал поминутный отчет о полете, описал, как у бойцов менялось настроение и состояние желудка с момента взлета до прыжка.

Пока я раздавал интервью, Крис вышел из столовой. Он вернулся как раз в тот момент, когда я набросился на яичницу. Он помахал мне прямо с порога. От еды отвлекаться не хотелось, но у Криса в руках я разглядел желтую бумажку.

Когда я вышел из столовой, Крис сказал: «Ну вот», — и протянул бумажку мне. Я прочел на ней следующее:

ВОЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА АЛЖИРА ПРОИНФОРМИРОВАНА РОБЕРТ
КАПА УВОЛЕН COLLIER ТЧК ПРИКАЗАНО ВЕРНУТЬСЯ АЛЖИР ПЕРВОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ

Это было сокрушительное поражение. Я сделал фотографии, но мне это ничего не даст. Пул военных фотографов, руководство которого вынудило «Collier» уволить меня, использует эти снимки и сделает из них сенсацию, но нигде не будет указан их автор, и я не получу за них ни цента. «Да провались оно все! Пойду доем яичницу», — сказал я.

«Погоди! — остановил меня Крис. — Ты все еще готов прыгнуть с парашютом? Сегодня ночью десантируется подкрепление. Если ты полетишь, никто не сможет тебя найти еще несколько недель, а я не стану подтверждать получение телеграммы до завтрашнего утра».

Так я и остался без яичницы. Крис повез меня обратно по той же дороге в лагерь, где войска подкрепления готовились к предстоящей им ночью работе.

Крис без труда пристроил меня в десантные войска. Мне выдали парашют. Ничего никому объяснять не пришлось. В полночь мы поднялись в воздух. Во второй раз за эти сутки я летел на Сицилию. Теперь я был в одной упряжке с бойцами и, как и все, думал о душе. Мои познания о прыжках с парашютом были весьма скромными. Мне надо было выйти в открытую дверь с левой ноги и сосчитать: «Пятьсот один... Пятьсот два... Пятьсот три», и, если основной парашют после этого не раскроется,

дернуть за кольцо запасного. Я был слишком вымотан, чтобы думать обо всем этом. Да и не хотел. Я просто уснул.

Меня разбудили незадолго до включения зеленого сигнала. Когда настала моя очередь, я шагнул левой ногой в темноту. Соображал я плохо и, вместо того чтобы считать секунды, повторял: «Вот прыгает уволенный фотограф». Я почувствовал толчок — парашют раскрылся. «Вот уволенный фотограф летит», — сказал я с удовлетворением. Меньше чем через минуту я опустился на дерево посреди леса.

Остаток ночи я провисел на стропах, и мои плечи узнали, сколько весит моя задница. Генерал был прав: это не слишком естественное занятие. Вокруг шла ожесточенная перестрелка. Я не решился звать на помощь. Из-за моего венгерского акцента я рисковал быть убитым не только врагами, но и своими.

Наутро меня нашли трое парашютистов. Они перерезали стропы и помогли мне спуститься. Я попрощался со своим деревом. Наши отношения были очень близкими, разве что слегка затянущимися.

Наша оперативная группа из четырех человек не горела желанием биться с врагом, поэтому мы осторожно перемещались от одного дерева к другому, долго обдумывая каждый шаг. Чем реже становился лес, тем дольше длились обсуждения дальнейших действий. Выглянув из-за последнего дерева, мы увидели маленький домик сицилийского фермера, стоявший посреди поля ярдах в двухстах от нас. В лучших военных традициях мы поползли к нему на животах. Три солдата окружили дом, заняв таким образом стратегические позиции и приготовившись стрелять из своих «томми-ганов». Поскольку автомата у меня не было, а в группе я прослыл лингвистом, мне дали задание стучаться в двери.

Мне открыл пожилой сицилийский крестьянин в ночной рубашке до пят. Он смотрел на меня так, будто я с неба свалился. Похоже, он впервые видел комбинезон парашютиста. На руках

у нас были нашивки с американским флагом, но смуглые, слегка средиземноморские черты моего лица впечатлили его больше, чем все остальное. Он вскрикнул: «Сицилиец! Сицилиец!» — и крепко обнял меня. Солдаты опустили свои автоматы, и мы спешно вошли в дом. Я не знал ни слова по-итальянски и пытался на ломаном испанском объяснить старику, что из всей родни только прадедущка был с Сицилии. В ответ на меня обрушился поток непонятных слов, среди которых то и дело звучало что-то вроде «Брук-э-лин». Один из бойцов, услышав это, ткнул себя в грудь: «Я, я из Бруклина».

Разговор стал налаживаться. Мы установили, что американцы любят сицилийцев и сицилийцы любят американцев, что американцы не любят немцев и сицилийцы их тоже ненавидят. Покончив с этими прелюдиями, я перешел к делу. Надо было выяснить, где мы находимся и есть ли поблизости немецкие войска.

Мы разложили на столе шелковую карту военных действий. Повосторгавшись качеством ткани, крестьянин поставил большой палец на точку в глубине острова, миль на двадцать пять удаленную от официальной границы зоны десантирования. Он сказал, что ночью какие-то немецкие части прошли по дороге, ведущей к побережью, но не стали останавливаться и, вероятно, больше никого в округе нет.

Он снабдил нас продуктами и вином, и мы вернулись в лес. Там мы провели три дня. Днем ложились спать, а ночью пробирались вперед, взрывая по дороге небольшие мосты. На четвертый день нас нагнали передовые части 1-й дивизии. Их не очень впечатлила наша воинская доблесть. Мне как фотографу все эти приключения ничего не дали. Единственной фотографией, которую я снял, был портрет пожилого сицилийского фермера.

Кампания на Сицилии обернулась трехнедельной гонкой. Впереди шла итальянская армия, которая в равной степени боялась и американцев, и немцев, поэтому ее солдаты разбегались во все стороны. Немцы двигались медленнее итальянцев, но и они сда-



АГРИДЖЕНТО, СИЦИЛИЯ, 17–18 июля 1943 года. Освобожденный, но серьезно пострадавший город возвращается к жизни.

вали позиции. Им на пятки наступал безработный враждебный иностранец, которого, в свою очередь, преследовал весь отдел по связям с общественностью американской армии. Сзади всю эту кавалькаду безжалостно подталкивали вперед танки генерала Паттона — страшно грохочущие и покрытые пылью.

По ходу дела я снял огромное количество классных фотографий. Но провести их через цензуру и передать на большую землю можно было только с помощью отдела по связям с общественностью, от которого я старательно скрывался. Более того, единственным пунктом, куда я мог отправить свои снимки, был пул военных фотографов, которому не было до меня никакого дела. Отснятые пленки накапливались в моем рюкзаке, а шансы на то, что их удастся напечатать, таяли с каждым днем.

Меньше чем через три недели мы оказались у нашей главной цели. Мы дошли до пригородов Палермо. Немцы ретировались, а итальянские войска биться с нами не собирались. Джип, в котором я сидел, въехал в город следом за первыми танками 2-й бронетанковой дивизии. Вдоль дороги, ведущей в центр, выстроились десятки тысяч обезумевших сицилийцев. Они махали нам белыми простынями и самодельными американскими флагами, на которых не хватало звездочек, зато было слишком много полосочек. Похоже, у каждого был кузен в Бруклине.

Все единодушно принимали меня за сицилийца. Представители мужского населения трясли мне руку, пожилые дамы бросались меня целовать, а юные забрасывали джип цветами и фруктами. В общем, фотографировать мне просто не давали.

К воротам Палермо мы подошли без единого выстрела. Лейтенант, командующий танками, связался по радию со штабом и запросил приказ о входе в Палермо. Когда в штабе узнали, что город не сопротивляется, то велели остановиться и дожидаться командующего. Ругая штабных последними словами, мы стали ждать. Вскоре прибыл командующий корпусом — генерал Киз в сопровождении кучки помощников и военных полицейских. Полиция мгновенно взяла колонну под свой контроль, блокировав

дальнейшее продвижение танков, солдат и военных корреспондентов.

Генерал Киз приказал вывести из ликующей толпы несколько итальянских жандармов и привести их к нему. Жандармов привели. Генерал сказал, что ему наплевать, виновны они в чем-либо или нет. Единственное, чего он требовал, — выдачи итальянского генерала, командующего Палермо. Жандармы закивали, но не пошевелились. Киз раздраженно потребовал найти переводчика, и тогда я предложил свои услуги. Каким-то образом я смог объяснить жандармам, что генерал хотел бы избежать ненужного кровопролития, а для этого итальянский генерал должен объявить народу условия капитуляции.

Жандармы закивали: «Si, Si», забрались в джип и вместе с несколькими военными полицейскими поехали в центр города.

Через пятнадцать минут джип вернулся. На заднем сиденье, зажатый между двумя улыбающимися жандармами, ехал очень потный и несчастный итальянский генерал. Киз махнул ему, чтобы тот перебрался в его автомобиль. Он повторил военным полицейским приказ о запрете на вход в город. На его автомобиль был водружен белый флаг. Создавалось впечатление, что он собирается брать Палермо без армии.

«Ну вот и началась моя капитуляция», — подумал я. Однако когда автомобиль уже готов был тронуться, генерал Киз повернулся ко мне. «Переводчик, иди-ка сюда!» — приказал он.

Мы поехали во дворец губернатора. Генерал Киз потребовал немедленной и безоговорочной капитуляции города и военного округа Палермо. Я перевел на французский, поскольку знал этот язык лучше всего и надеялся, что итальянец тоже его знает. Он ответил мне на идеальном французском, что был бы рад, но это невозможно, поскольку четыре часа назад он уже сдал город американской пехотной дивизии, вошедшей в Палермо с противоположной стороны.

Генерала Киза взбесила эта неувязка. «Отставить болтовню, солдат! Я требую безоговорочной капитуляции, и я требую ее немедленно!»



МОНРЕАЛЕ, ПРИГОРОДЫ ПАЛЕРМО, СИЦИЛИЯ, июль 1943 года.
Жители приветствуют американские войска.



ПАЛЕРМО, СИЦИЛИЯ, июль 1943 года. Генерал Джузеппе Молинеро
[справа], командующий гарнизоном Палермо, сдает город генера-
лу американской армии Джеффри Кизу.

На развороте:
МОНРЕАЛЕ, ПРИГОРОДЫ ПАЛЕРМО,
СИЦИЛИЯ, июль 1943 года. Амери-
канские войска входят в город.





ПАЛЕРМО, СИЦИЛИЯ, июль 1943 года.
Американцы празднуют победу.



СИЦИЛИЯ, июль 1943 года. Раненый американский солдат.

Я объяснил итальянцу, что сдаваться во второй раз куда проще, чем в первый. К тому же генерал Киз — командующий корпусом, и он, несомненно, разрешит ему взять в лагерь военнопленных свои бумаги и личные вещи. Вопрос был решен. Итальянец объявил о капитуляции на французском, итальянском и сицилийском, а потом спросил, нельзя ли ему взять в лагерь военнопленных еще и жену.

Моя переводческая задача была решена, и я отправился фотографировать. После завершения церемонии капитуляции я увидел, как итальянского генерала ведут в тюрьму — в полном одиночестве и с пустыми руками.

Армия вступила в Палермо. На первом джипе с журналистами ехал Эрни Пайл. Он помахал мне рукой и крикнул: «Черт побери, безработный враждебный иностранец! За тобой гоняется вся пресс-служба!»

Я понял, что отпраздновать победу в Палермо мне не удастся. Я отдал пленки Эрни и попросил отправить их в журнал «Life». Когда они увидят эти снимки, им придется взять меня на работу, хотя бы они того или нет.

Надо было выбираться из Палермо, причем пешком. Уходя от удовольствий, которые предвещала первая занятая нами столица, я понял, что мне жутко надоело быть уволенным фотографом. Я понятия не имел, куда идти, но знал, что 1-я дивизия бьется где-то в центре Сицилии. У меня там были приятели, и я решил найти их. Где именно их искать, мне было неизвестно, на это ушло три долгих дня. Два генерала, Терри Аллен и Тедди Рузвельт, относились ко мне дружелюбно, но в штабе дивизии появляться было опасно. Все уже прознали, что я не имею права делать вид, будто у меня есть аккредитация военного фотографа. Посему я обошел стороной штаб и влился в 16-й пехотный полк, который стал мне родным еще в Северной Африке.

Полк как раз собирался атаковать Трои́ну, маленький городок, торчащий на холме. Битва оказалась трудной. На взятие Трои́ны потребовалась целая неделя, в боях погибло много хороших ребят.



БЛИЗ ТРОИНЫ, СИЦИЛИЯ, 4–5 августа 1943 года. Сицилийский крестьянин показывает американскому офицеру, в каком направлении ушли немцы.

Мне впервые довелось поучаствовать в атаке от начала до конца. Я смог сделать несколько хороших снимков. Это были очень простые фотографии, они демонстрировали, насколько на самом деле скучен и незрелищен бой. Чтобы делать сенсационные снимки, нужны везение и скорость. Большинство таких картинок на следующий день после публикации уже никому не нужны. А вот солдат, снятый в бою под Троиной, через десять лет посмотрит на фотографию, сидя у себя дома, в Огайо, и скажет: «Да, так все и было».

Прелестная деревенька на холме лежала в руинах. Немцы, державшие оборону, ночью отступили, оставив мертвых и раненых мирных жителей на произвол судьбы. Мы встали на маленькой площади перед церковью, совершенно выдохшиеся и полные отворачивания. «Все бессмысленно: эта битва, эти смерти, эта съемка...» — так думал я. Мои размышления прервал Тедди Рузвельт, который всегда появлялся в самый ответственный момент. Он легонько ткнул меня своей тростью и сказал: «Капа, в штаб дивизии пришло уведомление о том, что ты теперь работаешь на журнал “Life”».

Я так долго ждал эту новость, так на нее надеялся. Но теперь, когда она пришла, я не обрадовался. Безработный враждебный иностранец, которого я покидал в Троине, был гораздо больше причастен к этой войне, чем официально аккредитованный фотограф журнала «Life».

Блудный сын возвращался в Палермо на джипе. По дороге генерал Тедди читал стихи, а лейтенант Стивенсон распевал коббойские песни. У меня кружилась голова. Мы остановились перекусить, но я отказался от еды. Мои попутчики заметили, что я какой-то бледный. Сомнений не было, малярию и новую работу я заполучил одновременно.

В госпитале кормили отвратительно, зато там была симпатичная медсестра. Я не мог ничего есть, и доктор попросил сестру выдавать мне каждый день несколько рюмок виски,



ТРОИНА, СИЦИЛИЯ, 6 августа 1943 года. Американские войска бомбили и обстреливали эту высоту в течение недели. Как выяснил Капа, войдя в Троину вместе с первым американским разведотрядом, все это время в городе оставались мирные итальянские жители.



ТРОИНА, СИЦИЛИЯ, август 1943 года



ТРОИНА, СИЦИЛИЯ, август 1943 года

чтобы разбудить во мне аппетит. Медсестра принесла подшивку американских газет, и я обнаружил, что мои снимки высадки на Сицилии были использованы буквально всеми американскими изданиями. Я нигде не упоминался. Но это с лихвой компенсировал журнал «Life». Фотографии взятия Палермо они поместили на семи первых страницах журнала. Там было не только мое имя, набранное жирным шрифтом, но даже моя физиономия в небольшой рамке. Это значило, что я штатный фотограф этого журнала.

Я спросил у сестрички, где в Палермо можно найти хорошую еду. Она сказала, что при отеле «Excelsior» есть один очень симпатичный нелегальный ресторан. Замерив пульс, она сообщила, что у меня все еще температура и что когда стемнеет, можно будет незаметно выбраться из госпиталя через окно подвала.

Мы ели прекрасный стейк и пили местное шампанское. В общем, все было отлично. Вернулись мы довольно поздно — окно оказалось запертым.

Я поступил как кавалер из восемнадцатого века. Отпустил медсестру, а сам вошел в госпиталь через главный вход и сказал, что я новый пациент. «Кажется, у меня малярия», — добавил я. На меня снова оформили все бумаги. К сожалению, я попал в свою же палату, и осматривать меня пришел тот же доктор. На этот раз меня «уволили» из госпиталя.

VII

Осень 1943 года

Сицилийская операция завершилась. Меня отправили обратно в Алжир. В главном журналистском штабе кипела работа. В зале заседаний, где обычно горстке репортеров зачитывали официальные сообщения, я обнаружил огромное собрание знаменитых обозревателей. Быстрый захват Сицилии вкупе с надвигающимся вторжением на материковую часть Европы заставил их покинуть американские офисы и слететься целой стаей сюда, в Алжир.

Зал гудел от многочисленных голосов. Гадали, где и когда Оно начнется, обсуждали воздушную мощь нашей армии и ее слабые места, а также вопросы снабжения. На мою голову, забитую хинином, вся эта болтовня не произвела ни малейшего впечатления, и я решил удрасть. Хотелось найти отдельную комнату с большой, хорошей кроватью. Мне нужен был душ, свежие полотенца и кнопка вызова горничной.

В Алжире было только два больших отеля. На холме стоял «St. George», в котором разместился военный штаб Эйзенхауэра. В гавани был отель «Aletti», номера в котором были забронированы для генералов, прибывающих с фронта, дипломатов и военных корреспондентов, особо важных персон Свободной Франции, все еще важных персон Вишистской Франции, ну и конечно, для лучших представителей древнейшей профессии.

Когда я добрался до «Aletti», сержант-квартирьер вместо ключа от комнаты выдал мне несколько хорошо отрепетированных фраз. Он сказал, что в ноябре 1942 года в Алжире было 22 аккредитованных военных корреспондента, и мэр города выделил для них десять номеров гостиницы. Теперь же, в августе 1943-го, в городе около 150 аккредитованных журналистов, а номеров по-прежнему десять. Я стал с ним препираться. Он пожал плечами. «Номера — на третьем этаже. Можете попытать счастья».

Шансов на отдельную комнату практически не оставалось, но я все еще рассчитывал на душ и звонок. Я заходил во все комнаты подряд, спрашивая, нет ли свободной кровати, потом стал умолять поделиться хотя бы местом на полу, но все тщетно. Не только не было свободных кроватей — каждый метр площади был занят койкой или спальником. Люди жили даже на балконах.

Я расположился вместе со своим спальником в пустом углу коридора и впал в уныние. В этот момент надо мной нависла 230-фунтовая туша — это был мой бывший босс Квентин Рейнольдс. Он обрадовался, услышав, что у меня есть работа, и сказал, что по поводу комнаты я могу не беспокоиться. Приехав из Лондона, он познакомился здесь с кротким маленьким человеком, представителем некоего учреждения под названием Британский совет. Судя по всему, это было какое-то очень важное учреждение, поскольку маленькому человеку выделили номер с двумя кроватями и балконом. В одной из них спал Квентин. Он сказал, что его маленький друг наверняка не станет возражать, если немного места на полу займет дружелюбный венгр.

Придя вечером в номер, маленький друг обнаружил, что я лежу, растянувшись у него на полу. Он извинился, что разбудил меня, и выразил надежду, что я чувствую себя достаточно комфортно. Я что-то пробубнил в ответ и сразу же уснул.

На следующее утро нас разбудил Кларк Ли, самый красивый из иностранных корреспондентов, прославившийся не только своими репортажами, но и тем, что выжил в Батаане. Тем утром он был не так красив, как обычно: его лицо было раздуто

флюсом. Он одной рукой показал на щеку, второй — на кровать. Маленький кроткий джентльмен из Британского совета любезно уступил ему свое место, и Кларк со стоном рухнул в постель.

Вечером хозяину кровати вновь удалось завладеть ею. Едва мы собрались укладываться, как дверь распахнулась и в номер вошел Джек Белден, самый милый и самый угрюмый корреспондент в мире. Он молча расстелил спальник и забрался в него. Мы почувствовали, что хозяин номера ждет объяснений, и предположили, что Джек вместе с войсками генерала Стилвелла отступал из Бирмы.

Около полуночи пришел Эрн Пайл. Это был самый скромный человек на свете. Он извинился за вторжение, но едва ли в этом была необходимость: в компании далеко не миниатюрных джентльменов присутствие его худощавой персоны было практически незаметно.

Казалось бы, для одного вечера и этого многовато, но нам предстояло проснуться еще раз. Теперь нас навестила дюжина немецких самолетов. Они летели очень низко. Бомбы падали совсем рядом с нашими окнами. Мы остались на месте, но надели каски. У джентльмена из Британского совета каски не было — он решил, что ему будет спокойнее под кроватью. Кларк Ли не стал возражать и остаток ночи провел на кровати.

Весь следующий день мы ждали звонка из пресс-службы: сидели в номере, скучая и немного опасаясь новых налетов, и без конца болтали о предстоящем большом наступлении. Днем, с тремя бутылками алжирского шнапса, в номер ввалились Джон Стейнбек и Хуберт Ренфро Никербокер по прозвищу «Рыжий». Они утверждали, что шнапс обязательно поможет Кларку Ли. Вкус у этого напитка был невыносимый, но допустить, чтобы больной выпил все это один, мы не могли. Так что мы дружно взялись за дело и опустошили бутылки, избавив таким образом Кларка от смертельной опасности. Тем временем Стейнбек и Никербокер без лишних слов разложили спальники на балконе.

С тех пор каждое утро наша коммуна просыпалась во все расширяющемся составе. С балкона открывался прекрасный вид

на гавань. Все новые и новые корабли заполнялись солдатами, пушками и самолетами. Промежутки между большими кораблями постепенно занимали маленькие десантные баржи. Час близился.

Когда в номере было уже почти не пройти из-за лежащих там людей, нам позвонили и позвали в штаб. Мы упаковали свои каски и спальники и ушли, оставив нашего маленького хозяина совершенно одного в пустой комнате.

Мы ввалились гурьбой в штаб пресс-службы. Его глава, подполковник Джо Филлипс, вызывал нас к себе в кабинет по одному. О самой операции нам не сказали ни слова, сообщив лишь, что отныне мы будем «изолированы». Каждого из нас приписывали к определенной дивизии. Когда подошла моя очередь, Филлипс сказал: «Капа, я уверен: Вы родились парашютистом!» «Вообще-то я родился венгром», — возразил я. Он рассмеялся. «Я думаю, лучше придерживаться первой версии».

Через несколько часов меня привезли на аэродром в Каируан. Когда я был здесь шесть недель назад, самолеты и планеры были расставлены в точно таком же порядке. Однако теперь у всех С-47 на носу были нарисованы маленькие белые парашюты по числу операций на вражеской территории.

Крис уже ждал меня и поздравил с возвращением. «Я знаю, ты устроился на работу, теперь все будет официально. Ну как там Пинки?»

Я ответил, что у нас с ней все в порядке. Он был разочарован: «Ты скучный, как все журналисты, — сказал он. — Зато у меня для тебя новости. Тут есть такой Си Корман из “Chicago Tribune”, так вот он играет в покер еще хуже тебя».

Я играл как всегда плохо, но к полуночи почему-то все деньги оказались у меня. Вставая из-за стола, Крис буркнул, что я исключительно удачлив. «У меня есть лишь одно объяснение такому везению, — сказал он. — Очевидно, Пинки в Лондоне неплохо проводит время».

На следующий день Крису надо было лететь в Каир. Я отдал ему деньги, выигранные в покер, и попросил купить мне пять пар шелковых чулок и лучшие французские духи. Он сказал, что просьбу, конечно, выполнит, но мне это вряд ли поможет.

Не прошло и полутора суток, как Крис вернулся. Он все купил. Я отправил посылку Пинки, приложив к ней записку, в которой пообещал вернуться раньше, чем она сносит эти чулки.

Дни в жаркой тунисской пустыне тянулись медленно. Когда начнется операция, никто не знал. Штабы 82-й десантной и 9-й транспортной дивизий обменивались секретными конвертами, доступ посторонних лиц в оперативный пункт был закрыт.

Мы устали сидеть без дела под палящим солнцем и с нетерпением ждали приказа о десантировании. Наконец этот день настал. Только погрузили нас не на самолеты, а на огромные десантные корабли, стоявшие в гавани Гафсы.

Два дня мы шли зигзагами по Средиземному морю. Потом, в очередной раз внезапно сменив курс, подошли к Сицилии и бросили якорь в гавани Ликаты. Здесь мы снова принялись ждать приказа о десантировании. Самолеты 9-й транспортной дивизии были переброшены из Каируана на аэродром Ликаты.

Крис тоже был здесь, он уже успел подготовить помещение для журналистов. Военное начальство расположилось в школе, в ее лаборатории разместились пресс-служба. Дик Трегаскис из «International News Service» сидел среди мензурок, скелетов и чулок и писал блестящие репортажи о подготовке к военной операции, которые никогда не пропускала цензура. Корман и я резались в двуручный покер на опрокинутой школьной доске.

Десантная дивизия разбила лагерь в оливковой роще за аэродромом Ликаты. В этом городке, известном благодаря роману Джона Херси «Колокол для Адано», колокола не оказалось, зато было много рыбы и кислого вина. Вечером на лагерь опустилась прохлада. Небо было полно звезд и комаров. Свежие сплетни беспрепятственно переносились от одного оливкового дерева к другому.

Утром бригадный генерал Тейлор, командовавший 82-й десантной дивизией, спросил, не одолжит ли ему кто-нибудь кошелек

на ремне. Мне сразу вспомнилась история про генерала Марка Кларка, который прибыл инкогнито на североафриканское побережье, чтобы подготовить маршрут африканской военной операции. Но его застукали жандармы присевшим на пляже, в результате чего он потерял штаны и миллионы франков, предназначенных для взяток.

Я предложил генералу Тейлору свой ремень, который достался мне в качестве карточного выигрыша, и спросил, только ли штаны он боится потерять.

Генерал взял ремень, и заметил, что журналисты слишком много болтают.

Через два дня в лагере началась лихорадочная деятельность: был дан приказ проверить и упаковать снаряжение. Мне велели явиться в палатку генерала Риджвея.

«Капа, — сказал он мне, — ты сегодня вечером обедаешь в Риме. Там сейчас генерал Тейлор. Подписан договор о перемирии с итальянцами».

Наши десантники вечером собирались занять римский аэродром и сам город. «Маршал Бодольо заверил нас, что очистит территорию от немцев и мы сможем спокойно приземлиться». Затем генерал принялся объяснять, как следующим утром 5-я армия высадится в Салерно, к югу от Неаполя.

У меня появился шанс снять самые сенсационные кадры за всю войну. В то время как все фотографии будут делать тоскливые снимки побережья и портреты второстепенных военачальников, я сфотографирую Муссолини у него на родине! А к тому времени, когда мои коллеги доберутся до Рима, я обоснуюсь в лучшем отеле Италии и буду называть бармена по имени.

Я вернулся к своему рюкзаку и переоделся, сменив костюм парашютиста на розовые брюки и габардиновую рубашку. Вскоре я оказался во флагманском самолете генерала Риджвея. Мы собирались взлетать.

Пилот уже прогревал моторы, как вдруг к самолету подбежал посыльный и вручил генералу радиограмму. Генерал Тейлор сообщил из Рима следующее:

НЕМЦЫ ДНЕМ ЗАХВАТИЛИ АЭРОДРОМ ИТАЛЬЯНЦЫ НЕ СДЕРЖАЛИ
СОВЕТУЮ ОТКАЗАТЬСЯ ПРЕЖНИХ ПЛАНОВ

Во всей Италии не было парня в розовых брюках грустнее меня.

Через три дня после высадки 5-й армии в Салерно лодка с тремя корреспондентами, приписанными к воздушно-десантным войскам, бросила якорь в том же злосчастном порту. Всего 72 часа, но для многих солдат это были самые длинные часы в их жизни, а для кое-кого — и вовсе последние. Обуглившиеся, наполовину затопленные корпуса кораблей и барж, флаги, развевающиеся над белыми крестами первого американского кладбища в Европе, — вот что мы увидели в Салерно.

Грузовик-амфибия отвез нас на берег. Так после пятилетнего перерыва я вновь оказался на европейском континенте. Благодаря 5-й армии в Салерно кое-что изменилось. Большие знаки делили берег на три зоны высадки десанта: красную, зеленую и желтую. Появились новые улицы с названиями вроде Мэйн-стрит, Бродвей, 42-я стрит. Военные полицейские в белоснежных перчатках регулировали на перекрестках дорожное движение. На всех углах красовались огромные плакаты с Заповедями 5-й армии:

СОЛДАТЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ КАСКУ, ЗА НАРУШЕНИЕ – ШТРАФ. ПРИ-
ВЕТСТВОВАТЬ ОФИЦЕРОВ – ОБЯЗАННОСТЬ. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ДЖИ-
ПАХ – ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ.

Лагерь прессы расположился на территории фабрики, примерно в миле от берега. Чтобы попасть в «святая святых», пришлось предъявить все мыслимые пропуска и документы. Там собрались все корреспонденты, и каждый из них уже написал и отправил свой самый сенсационный репортаж за всю войну.

Взглянув на карту военных действий, мы обнаружили, что линия фронта — всего в пяти-шести милях от берега, а наши

передовые части стоят в двадцати милях от Неаполя. На левом фланге берегового плацдарма, который был ближе всего к Неаполю и дальше всего от штаба, был нарисован синий квадратик с надписью: «Рейнджеры. Коммандос. Парашютисты».

Упустив шанс снять начало операции, я хотел прибиться к частям, которые первыми войдут в Неаполь. Я двинулся в направлении Майори, где располагался штаб рейнджеров.

Собственно говоря, рейнджеры почти ничем не отличались от любых других пехотинцев. Они просто были лучше натренированы и имели больше опыта. Они разговаривали, как кретины, дрались, как убийцы, и однажды я увидел, что они умеют плакать, как герои. Что до их командира, подполковника Дарби, то он говорил грубее и дрался злее, чем любой из его солдат.

В Майори я приехал в тот же вечер. Я смертельно устал и решил поискать ночлег. В начале любой военной операции еду и ночлег всегда можно найти в госпитале. Найти госпиталь было легко: он расположился в маленькой церкви, к которой нескончаемой вереницей тянулись санитарные автомобили. Из них у входа вытаскивали окровавленные носилки. Внутри, в полутьме, стоны раненых звучали, как какая-то странная молитва, а запах эфира смешивался с запахом ладана. Церковь была переполнена. Большинство раненых лежало на холодном полу. Было всего несколько коек — на них лежали самые тяжелые. Над их головами, как лампы, покачивались бутылки с плазмой: сочащаяся по трубкам кровь пыталась задержать в телах ускользающие из них жизни.

У алтаря, на коленях, спиной к раненым и умирающим прихожанам, прижав лицо к ступеням, стоял солдат, который, похоже, был местным священником. Я не заметил у него ран, но он был контужен. Его нервная система и органы чувств были разрушены взрывом. Он бормотал что-то невнятное — одному Богу было известно, что он хотел сказать.

За ранеными присматривали итальянские монашки, а полы мыли первые немецкие военнопленные. Я немного помедлил, потом достал камеру. Моя вспышка безжалостно разрушила все



МАЙОРИ (СОРРЕНТИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ), 19 сентября 1943 года. Британские хирурги в операционной, организованной в церкви, в северном секторе берегового плацдарма Салерно.

чары. Я — фотограф. Это необычный госпиталь... может получиться хороший репортаж.

Доктора жили в сиротском приюте, примыкавшем к церкви. Дежурный врач предложил мне свою кровать. Спать ему все равно было некогда.

Утром мы завтракали вместе с ним. Пока мы ели, в церковный сад ровным строем прошли маленькие сироты. Впереди маршировала игуменья. Они пели песни, и это были песни юных фашистов. Врач заснул было над чашкой кофе, но внезапно встрепенулся и позвал переводчика.

«Скажи игуменье, что мы больше не собираемся это терпеть. Я отказываюсь кормить американскими пайками будущих фашистов. Если эти дети не перестанут ходить строем и не научатся играть в нормальные игры, они не получают полдник».

Начались долгие препирательства с игуменьей. Дети тем временем стали вести себя, как дикие индейцы, — так зародилась новая демократия.

Врач на минуту расслабился и улыбнулся. Потом его лицо опять стало серьезным, он резко поднялся и пошел в операционную.

В штабе рейнджеров подполковник Дарби завтракал вместе с немногочисленными подчиненными. Все они были небритые и невыспавшиеся. Дарби пытался говорить по трем телефонам одновременно.

«Чем я могу быть полезен фотографу?» — спросил он.

Я сказал, что пытаюсь догнать войну.

Он заверил, что это нетрудно. Солдат у него мало, техники еще меньше, зато войны — в избытке, и он готов ею со мной поделиться. Его фронт простирался на весь левый фланг берегового плацдарма. В распоряжении у него, помимо рейнджеров, был полк парашютистов, один батальон 36-й пехотной дивизии, немного британских командос и группа легких английских танков. Плюс несколько артиллерийских орудий, два минометных

расчета и небольшой британский крейсер, стоящий на якоре в заливе.

«Если ты непременно хочешь, чтобы в тебя стреляли, отправляйся на перевал Чиунзи, к примеру. Если подождешь немного, мой водитель отвезет тебя в форт Шустер».

По обеим сторонам узкой, извилистой горной дороги тянулись виноградники. С каждой лозы свисали спелые, теплые грозди. Я предложил водителю ненадолго остановиться. Однако вместо этого он нажал на газ, указав на свежие воронки и американского солдата, неподвижно лежавшего в придорожной канаве.

«Я не останавливаюсь. — сказал он. — Уж на этой кровавой дороге — точно».

Над нами просвистел снаряд. Он взорвался всего в ста ярдах позади нас. Я убедился, что водитель прав. А виноград наверняка был кислый.

«Форт Шустер» оказался вовсе не крепостью, а старой итальянской таверной, стоявшей у изгиба дороги на самой вершине перевала. Ее толстые многовековые стены были сложены из местного камня. За поворотом дороги открывался вид на плоскую равнину, на которой стоял Неаполь, но прошло еще несколько дней, прежде чем я осмелился зайти за этот поворот, чтобы полюбоваться пейзажем.

В таверне расположился медпункт, а «фортом Шустер» его называли в честь главврача. Посреди комнаты стоял большой стол, его использовали для неотложных операций. Когда я вошел, медики готовились отправлять раненых в Майори, в церковь.

*На развороте:
ПЕРЕВАЛ ЧИУНЗИ, НАД МАЙОРИ (СОРРЕНТИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ), сентябрь 1943 года. Окопы рядом со стратегическим аванпостом, который американцы называли «форт Шустер». Из них простреливалась главная дорога, ведущая на север, в Неаполь.*



Войну и кровь я начал снимать еще в Испании, но и через семь лет при виде разодранных тел и свежей крови меня начинало тошнить. Я поставил свой рюкзак в самом дальнем углу, рядом с двумя огромными бочками вина.

Немцы поливали огнем перевал и хребет без передышки. Всюду рвались снаряды, но таверна оказалась сложной мишенью — она была скрыта за изгибом дороги.

А вот парням, сидевшим в окопах на хребте, доставалось крепко: к полуночи таверна была полна. Возле двери положили убитых, в центре — раненых, а в дальнем углу валялись бочки и фотограф.

Ночью пришел подполковник Уокер, командир пехотного батальона 36-й дивизии, со своими солдатами. «Извини, доктор, но нам надо атаковать, а немцы выставили две новые минометные батареи и сравняли с землей мой командный пункт».

Телефоны поставили прямо между ранеными. Места в таверне не осталось совсем, мне пришлось задвинуть свой спальник в щель между двумя бочками.

Вскоре у самой вершины перевала разорвался минометный снаряд. Осколками пробило матрасы, закрывавшие окна. Но я был в относительно безопасном месте: дополнительной защитой мне служили сто пятьдесят галлонов вина.

Обстрел продолжался всю ночь. Немцы вычислили точное расположение наших позиций на хребте, и после каждого взрыва в таверну приходили отчеты об убитых и раненых. Подполковник Уокер доложил в штаб рейнджеров, что его наблюдатели не смогли определить местонахождение новых вражеских минометов. Он опасался, что его стремительно сокращающийся батальон долго не продержится.

Дарби приказал стоять насмерть. Пообещал, что днем придет подкрепление. И действительно прислал: к рассвету на перевал забралась 75-миллиметровая пушка, установленная на потрепанном вездеходе, управляли которым четверо рейнджеров. На броне вездехода были написаны названия четырех знаменитых битв: Оран, Кассеринский перевал,



«ФОРТ ШУСТЕР», сентябрь 1943 года. Американцы докладывают обстановку британскому крейсеру, обстреливавшему с моря немецкие войска в деревне под перевалом Чиунзи.

609-я высота, Джела. Командовал подкреплением капитан О'Брайен.

На его гимнастерке красовалась Серебряная звезда, а под носом — пышные усы. Он рассчитывал, что за счет этого будет выглядеть старше своего двадцати одного года.

Мы застыли в недоумении. Одна легкая пушка против двух немецких минометных батарей! О'Брайен полюбовался нашими перекошенными физиономиями, а потом успокоил нас: к перевалу шла большая и мощная группировка.

Задачей О'Брайена было найти этих неуловимых немецких минометчиков. Его план был прост. Он предложил выдвинуть свой вездеход ярдов на 75 вперед, на открытую позицию. Немцы начнут его обстреливать и тем самым обнаружат себя. Это была смелая идея, которая неизбежно должна была привлечь весь вражеский огонь на перевал. Но выбора у подполковника Уокера не было, и он дал добро.

Я выбрал камеру с самым длиннофокусным объективом. Я хотел снять бой от дверей форта. Вездеход тронулся. Вскоре засвистели наши и вражеские снаряды, и где чьи — разобрать было невозможно. Я вынужден был запрыгнуть обратно в таверну, дождавшись паузы между выстрелами, но все-таки успел сделать 36 кадров захватывающего представления.

Минут через двадцать боеприпасы у вездехода закончились, и он вернулся на нашу сторону перевала. О'Брайен и его команда не пострадали, но на броне появилось много свежих вмятин. Во время перестрелки стало понятно, что огонь немцы ведут из маленькой деревни, затерянной в лесах прямо под перевалом. Туда были отправлены разведчики. Снаряды меж тем продолжали свистеть, штукатурка в таверне продолжала осыпаться, но нам оставалось лишь ждать.

Вечером до нас добрался молодой американский лейтенант с четырьмя тяжелыми минометами. Вместе с ним прибыл столь же молодой британский лейтенант с небольшой радиоустановкой и двумя солдатами. Английский парень оказался с крейсера, стоящего в заливе.



«ФОРТ ШУСТЕР», сентябрь 1943 года. Перекус

Минометы установили во дворе таверны. Крейсер ждал указаний: он был готов открыть огонь по любой точке, которую ему укажут.

Вскоре разведчики вернулись и сказали, что немецкие минометы действительно стоят в деревне. Орудия хорошо спрятаны в домах, стрельбу из них ведут через большие дыры, вырезанные в крышах.

Мы составили план небольших показательных выступлений союзнической артиллерии. Обстрел решили начать, как только рассветет. Для начала химическая рота выстрелит из своих четырех орудий дымовыми шашками.

Затем восемь корабельных пушек британского крейсера внесут вклад от имени Империи. Ну и напоследок из укрытия снова выйдет вездеход и добьет всех немцев, которые попытаются сбежать из деревни. Что до меня, то я выберусь из таверны под покровом ночи, найду себе хорошо защищенное укрытие с видом на деревню и буду снимать все происходящее.

Полночи я полз по склону. Я ужасно тосковал по «форту Шустер» и подумывал о том, что мне маловато платят.

Мой наблюдательный пост осветили первые лучи восходящего солнца. Деревня была прямо подо мной, всего в 750 ярдах. Фоном для нее служил Везувий, изрыгавший красивый столб густого дыма. Я позавидовал вулкану: в отличие от него я опасался даже зажечь сигарету — мое укрытие могли обнаружить.

Равнина была спокойна, как кладбище в будний день. Мне были прекрасно видны сотни крестьянских домиков, и казалось, что меня из деревни видно столь же отчетливо. Каждое окно смотрело именно на меня, и я старался еще глубже зарыться в кусты. Мне было холодно и совсем не до красивых видов. Больше всего на свете я хотел смотреть на грязные стены «форта Шустер», причем изнутри. А здесь, блином распластавшись по холодной земле меж двух линий огня, я имел небогатый выбор: бояться, лежа на пузе, или бояться, лежа на спине.

Наша первая дымовая шашка приземлилась в самом центре деревни. Минометы, крейсер и вездеход принялись поливать

белый дым огнем. Я оторвал голову от земли дюйма на три, не больше, и из такого положения стал фотографировать. Однако картина в видоискателе постоянно была одна и та же, и ничем, кроме цветных фильтров, разнообразить снимки я не мог. Дым от деревни вырос до неба. Везувий, стоявший позади, смотрелся младшим братом.

Снаряды летали прямо у меня над головой. Минометы свистели, крейсер визжал, и еще какой-то мерзкий писк в эту какофонию добавлял вездеход. В ответ полетели немецкие снаряды, они с воем ударились в вершину холма всего в ста ярдах надо мной. Я спрятал голову в траву. Солнце согрело мне спину, и я мечтал, чтобы в воздухе не летало и не пело ничего, кроме птиц.

К вечеру все снова стихло. Тонкая пелена черного дыма все еще поднималась к небу от горящих стен деревенских домов, да мерно дышал безмятежный Везувий.

В темноте я пробрался обратно к «форту Шустер» и обнаружил, что командование на себя приняли генерал-майор Риджвей и полковник Дарби. 82-я десантная дивизия была переброшена в Майори. Следующим утром планировалось начать генеральное наступление на Неаполь.

Я упаковал спальник и попрощался с «фортом Шустер». В полночь вместе с бригадой британских минометчиков я перешел через Чиунзи. Уже днем мы были на равнине. Минувшей ночью немцы отступили. Деревенские домики, которые так меня пугали, заполнились ликующими итальянцами. Они кормили нас фруктами, поили вином и бесконечно повторяли, что только нас всю жизнь и ждали.

По пути мы не встретили никакого сопротивления. Останавливались, только чтобы узнать, нет ли впереди немцев, глотнуть вина или поцеловаться с девушками. В Помпеях один из бойцов стал рваться к пошлым картинкам на стенах древних руин. Мы пошли осматривать развалины с двумя старыми итальянскими экскурсоводами, заплатив каждый по 2 лиры. Прекрасные

фрески, иллюстрирующие римские представления об искусстве любви, были поняты и одобрены солдатами. Отблагодарив гидов, мы продолжили наш путь в Неаполь.

На новых развалинах Неаполя надписи были иными. Огромными буквами на стенах было выведено: «MORE IL FASCISMO» и «VIVE LOS AMERICANOS». Местные девушки выглядели очень грязными — система водоснабжения в Неаполе была разрушена около месяца назад.

Снимать победу — это все равно что снимать венчание спустя десять минут после отъезда новобрачных. Праздничная церемония в Неаполе была очень короткой. Остатки конфетти все еще блестели в уличной грязи, но голодные гости быстро исчезли, обсуждая, сколько часов будут жених с невестой ссориться на следующее утро. Повесив камеру на шею, я бродил по пустым улицам, раздосадованный и одновременно довольный: можно было с чистой совестью ничего не снимать.

Узкая улица, ведущая к отелю «Parco», где я остановился, была запружена людьми. Они безмолвно стояли в очереди, тянувшейся к зданию школы. Эти люди явно стояли не за едой, поскольку в руках у выходивших наружу не было ничего, кроме шляп. Я встал в конец очереди. В школе меня встретил сладкий, тяжелый запах цветов и смерти. В комнате стояли двадцать простых гробов. Они были небольшого размера, а цветы закрывали их недостаточно плотно, чтобы скрыть маленькие, грязные детские ножи. Эти дети были достаточно взрослыми, чтобы бороться с немцами и погибнуть, но они лишь чуть-чуть выросли из детских гробов.

Неапольские детишки, украв винтовки и пули, две недели воевали с немцами, пока мы торчали на перевале Чиунзи. Этими ножками встречала меня моя Европа. Европа, где я когда-то родился. И такая встреча была куда честнее истеричных приветствий радостных итальянцев, многие из которых еще недавно столь же неистово орали «Дуче!».

Я снял шляпу, достал камеру и навел объектив на изможденные лица женщин, державших в руках маленькие фотографии

своих детей. Они стояли, не шевелясь, пока гробы не унесли. На похоронах в обычной школе я сделал свои самые правдивые снимки победы.

Вскоре я столкнулся с другими образами победы. В отеле меня ждал офицер пресс-службы генерала Кларка. Он пригласил меня на важную церемонию в королевские сады, где разместился временный штаб 5-й армии. Генеральский прицеп стоял под большими дубами, а вокруг него суетились толстые полковники — расставляли стулья. Один из них посоветовал сфотографировать генерала так, чтобы были видны звезды на его фуражке. Вскоре появился и сам генерал с тремя сияющими звездами. С ним пришел неапольский епископ в пурпурном облачении с блестящим орнаментом.

Я встал там, где мне было приказано, — по левую руку от генерала. Он выглядел грациозным и счастливым победителем. Что до епископа, то он три года репетировал церемонию с разными немецкими генералами — специально для этого случая. Они посмотрели друг на друга и обменялись рукопожатиями. Сцена длилась так долго, что даже самый нерасторопный фотограф успел бы сделать несколько дублей.

Собирая посылку для «Life», я положил снимки мертвых детей и генеральского приема в один конверт.

Победа мне надоела. Грязные улицы голодного Неаполя довольно быстро начали действовать мне на нервы. Приближался мой тридцатый день рождения, и я хотел встретить его в комфортной обстановке. Остров Капри, совершенно не затронутый войной, был всего в пяти милях и только что был объявлен зоной отдыха американских военно-воздушных сил. Кроме того, в Неаполь приехал Крис. Он считал, что первому курорту Италии не повредит визит опытного офицера пресс-службы.



НЕАПОЛЬ, 2 октября 1943 года. Похороны двадцати юных партизан в лицее Санназаро в районе Вомеро.



НЕАПОЛЬ, 2 октября 1943 года. Матери и другие родственники погибших партизан.



НЕАПОЛЬ, октябрь 1943 года.



Слева: НЕАПОЛЬ, 7 октября 1943 года. Прежде чем уйти из города, немцы заложили мощную бомбу замедленного действия в подвале главпочтамта. Она взорвалась через неделю, убив около ста человек и ранив еще больше.



НЕАПОЛЬ, октябрь 1943 года. Отступая на север, немцы взорвали городскую систему водоснабжения. Жителям Неаполя пришлось брать воду из автоцистерн союзнических войск.

На Капри нас принимали так, словно мы были почтовыми голубями, принесшими весть о возобновлении потока англосаксонских туристов. Нам не давали прохода. Служащие отеля целыми днями лихорадочно пытались поговорить с нами по-английски, чтобы восстановить утраченные навыки. Каждую ночь гитаристы пели у нас под окнами серенады, повторяя все время одну и ту же песню. Мне слышалось в ней что-то очень знакомое. Я поспорил с Крисом на пять долларов, что они пели «Happy Days Are Here Again».

Около полуночи мы спустились вниз, чтобы выяснить этот вопрос. Оказалось, они пели «Happy Birthday to You». Выигранные пять долларов Крис использовал, чтобы избавиться от музыкантов. Так я встретил свой тридцатый день рождения.

Наутро президент новоиспеченного Союза гидов-антифашистов провел для нас экскурсию по всему острову, показав знаменитые синие и зеленые гроты. Кроме того, он выдал нам подробный список коллаборационистов, посоветовав арестовать их, как только мы вернемся с прогулки. Днем президент Ассоциации коллаборационистов вручил нам ящик старого бренди. Подарок мы приняли, а о дарителе сообщили в службу контрразведки.

Мы решили отстраниться от политики острова Капри и пройтись по магазинам, пока итальянцы не успели сообразить, что они теперь наши союзники, и поднять по этому поводу цены. Крис потратил несколько сотен лир на сувениры, аргументируя это тем, что война, наверное, скоро кончится и ему надо будет что-нибудь подарить своим чикагским девушкам. Я же искал что-нибудь хорошо сочетающееся с розовым цветом. Мы набрели на маленький магазин, торгующий платьями. За прилавком стояла милая брюнетка. Она совершенно не знала английского, зато все остальное у нее было в полном порядке. К тому же она была готова помочь. Я жестами описал ей те мелочи, которые отличали фигуру Пинки от ее собственной.

Описать цвет волос было труднее. Тут помог кусок бледного коралла и веснушчатый итальянский ребенок. Продавщица сверкнула белозубой улыбкой и принялась выкладывать шелковые чулки, флорентийское кружевное белье, разноцветные юбки и еще кучу вещей, которыми женщины знают, как пользоваться, но о которых я и помыслить не мог.

Крис стоял в углу, не принимая в происходящем участия, но поглядывая с жалостью на меня и несколько по-иному — на девушку. Наконец запасы магазина и моего кошелька истощились. Пока продавщица заворачивала покупки, я пригласил ее на ужин. Она взяла кусочек розового коралла, положила его мне на ладонь и покачала головой. Крис, который не понимал итальянского, но понимал все остальное, ринулся в бой. Он взял у меня коралл и сказал ему: «Я, нет, нет, нет», — а потом девушке: «Я, да, да, да». Она слишком плохо знала английский, чтобы спорить.

Неаполь не пришелся мне по душе. Оставалось надеяться, что в Риме будет повеселее.

Между Неаполем и Римом находилась «Ахиллеса (а точнее, Черчиллева) пята Европы», вся в занозах немецких танков и крутых гор. Долины между гор вскоре заполнились госпиталями и кладбищами.

Начались дожди. Грязь становилась все глубже. Наши ботинки, предназначенные разве что для гарнизонов, хлюпали, ноги разъезжались. Мы шли: шаг вперед — два назад. Легкие гимнастерки и брюки совершенно не защищали от непогоды. Наша армия, самая экипированная в мире, увязла в этих горах. Было ощущение, что мы топчемся на одном месте. С каждой с мучениями пройденной милей Рим казался все дальше и дальше.

Журналистам не разрешали писать правду об этой кампании, да им и самим не хотелось. Кроме того, для описания происходящего картинки подходили гораздо лучше, чем слова. Тут пришел и мой черед взяться за камеру — и мне это было по душе. Я полз с горы на гору, из окопа в окоп и снимал грязь, страдание и смерть.



У ГОРЫ ПАНТАНО, К СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ КАССИНО, декабрь 1943 года. Солдат 2-й Морокканской пехотной дивизии, состоявшей преимущественно из берберских солдат и французских офицеров. Эта дивизия воевала плечом к плечу с американскими войсками.



ВЕНАФРО (ВОЗЛЕ КАССИНО), декабрь 1943 года. Тыловой командный пункт 42-й пехотной дивизии американских войск.



ВОЗЛЕ КАССИНО, декабрь 1943 — январь 1944 года.



Справа: ВОЗЛЕ КАССИНО, январь 1944 года.
На переднем плане: американский солдат
несет ребенка в убежище.

В декабре я уже взбирался по крутым склонам горы Пантано. К ее вершине 34-я пехотная дивизия шла неделю, а то и две. Высоту взяли накануне моего прибытия. Убитые лежали на склоне, их еще не успели похоронить.

Окопы через каждые пять ярдов. В каждом — по крайней мере один мертвый солдат. Вокруг трупов разбросаны оборванные, мокрые обложки книжек, пустые консервные банки из боевых пайков, полинявшие обрывки писем из дома. Путь мне преграждали тела солдат, осмелившихся покинуть свои окопы. Их кровь засохла и порыжела, смешавшись с опавшими листьями.

Чем выше я забирался, тем чаще лежали трупы. Смотреть на это я больше не мог. Я шел, спотыкаясь, вверх и как идиот повторял: «Хочу в белых штиблетах и штанах гулять под солнцем Калифорнии». У корреспондента Капы начинался военный невроз.

С ноября до самого Рождества 5-я армия не прошла и десяти миль, зато зарылась дюймов на десять в грязь. Белье под формой, которую я не снимал все это время, одеревенело. Фотографии получались грустные и бессмысленные, как сама война, и не было никакого желания отправлять их в редакцию. За два дня до Рождества я решил, что с меня (и с 5-й армии) довольно. Я знал, что исход войны будет решаться не в Италии. Ходили слухи, что штаб Эйзенхауэра вернется в Лондон и что Черчилль не может более откладывать открытие второго фронта.

Я решил отправиться обратно в Неаполь, сменить белье и рвануть за войной в Лондон. Спустившись с гор, я отметил в штабе 45-й дивизии, распрощался и попросил отвезти меня на джипе в Неаполь.

Штаб дивизии состоял из ям, вырытых в грязи и накрытых тентами. В палатке 2-го отдела кипела работа. Все наблюдали, как два сержанта рисуют синие и красные квадратики на карте военных действий. Меня это совершенно не интересовало. Единственное, что мне было нужно, — это джип. Полковник подтащил меня к карте и объяснил, как войска с фланга обойдут Кассино и осво-

бодят дорогу на Рим. «Очень интересно», — сказал я и попросил выдать мне джип. Полковник обиделся и сказал, что я пожалео, если уеду. Я ответил, что я и так уже печален и жалок, а еще очень устал и давно не мылся.

Полковник понял, в чем дело. Он позвал капитана. Тот взглянул на меня, фыркнул и отвел в хозяйственную палатку. Он откинул полог, и взору моему предстали бесценные сокровища. Капитан выудил набор свежего исподнего, чистую форму, пару ботинок и бутылку шотландского виски. Потом пришел дневальный с тремя касками горячей воды. Меня помыли, побрили, одели и залили последние сомнения стаканом виски. Похоже, 45-я дивизия ужасно хотела, чтобы ее фотографии попали на страницы «Life».

Той же ночью меня отвезли в передовой штаб 180-го пехотного полка, и в 4 утра понеслось...

Ночная атака начинается не слишком зрелищно. Бойцы берут свое снаряжение и выходят, стараясь двигаться как можно тише. В темноте ни черта не видно, слышен только скрип ботинок идущего впереди тебя. С каждым шагом ноги становятся все тяжелее, от страха внутри все сжимается. Пот на лице смешивается с утренней росой, и ты начинаешь вспоминать все теплые и уютные комнаты, в которых когда-либо бывал.

Через несколько часов ты уже радуешься любому безопасному месту, даже самому неуютному. Появляется непреодолимое желание сесть, укрывшись за первой попавшейся скалой, и закурить. Но ты ведь не трус, а потому не останавливаешься у скалы и идешь дальше, хоть и знаешь, что потом будешь жалеть об этом.

Первый луч солнца — сигнал к началу операции. Наша артиллерия сразу же начинает обрабатывать позиции противника, приободряя нас и, возможно, даже нанося некоторый урон немцам. Но, к сожалению, немцы от них просыпаются. Их лейтенант, стоящий на вершине холма, берет бинокль и поднимает трубку полевой радиации. Немецкая артиллерийская батарея попадает снарядом прямо в середину нашей колонны. А по

сведениям 2-го отдела, в нашем секторе артиллерии вообще не должно быть.

Все бросаются в грязь и перестают мечтать о доме. Перестают гадать, где бы они сейчас были, если б не война. Рассеиваются последние сомнения в том, что впереди действительно немцы.

До вершины по-прежнему две тысячи ярдов, и оставаться на месте не менее опасно, чем идти вперед. Поэтому с каждым снарядом мы падаем в грязь, потом поднимаемся и, согнувшись, бежим вперед и вскоре снова бросаемся в грязь. Потом кто-нибудь кричит, зовет санитаров, и каждый уверен, что следующим закричит именно он.

Мы добираемся до последнего гребня, и вот она, вершина, всего в пятистах ярдах. Наша артиллерия изрядно их вспахала, и мы уверены, что ни один немец не имеет права оставаться живым под таким огнем. Мы встаем, чтобы ринуться к вершине, а немецкие солдаты, которых мы считали мертвыми, начинают строчить по нам из автоматов и минометов.

Теперь мы по-настоящему зарываемся в грязь и очень долго лежим, не имея ни малейшего желания подниматься. Командир взвода связывается со штабом батальона и просит возобновить артиллерийский огонь и прислать подкрепление. Тем временем немецкие минометы планомерно обрабатывают каждый квадратный ярд склона.

Лежу на животе, спрятав голову за большой камень, с боков меня защищают два лежащих рядом солдата. После каждого взрыва я приподнимаюсь и фотографирую распластавшихся солдат и тонкий, подрагивающий дымок, поднимающийся над воронкой. Потом снаряды начинают пролетать прямо надо мной, и я больше не высываюсь. Взрыв в десяти ярдах, что-то ударяется об мою спину. Я слишком испуган, чтобы оборачиваться и смотреть: следующий снаряд может подобраться еще ближе. Я осторожно ощупываю спину рукой. Крови нет. Это просто большой кусок камня, его на меня отбросило взрывом. Сержанту, лежащему справа от меня, осколок разрезает руку. Достаточно серьезное ранение — теперь ему дадут Пурпурное сердце.

Парень, лежащий слева, не шевелится. Он уже не увидит своих рождественских подарков. Снаряды начинают падать позади нас, я зажигаю две сигареты. Сержант глубоко затягивается и протягивает мне аптечку. Я перевязываю ему руку. Глядя на рану, он говорит: «К Новому году вернусь в строй».

К концу дня огонь стихает. Воспользовавшись этим, мы с сержантом поднимаемся с земли. Мой итог дня: дюжина довольно банальных фотографий, огромный синяк на спине, дрожащие колени. Немцы по-прежнему на холме. Я уверен, что нескоро еще соберусь пойти в атаку ради фотографий.

В Неаполе почти ничего не изменилось. Прошло три месяца с тех пор, как наши войска вошли в этот город. Он был заполнен военными полицейскими в белых шлемах, повсюду висели таблички «Вход воспрещен», водоснабжение восстановили. *Napolitanos* развернули оживленную торговлю вещами, украденными у нашей армии. *Americanos* они предлагали буквально все, от своих наручных часов до своих дочерей. Дамы активного поведения фланировали вверх-вниз по Виа Рома, основательно припудрив волосы. Везувий устраивал самое мощное представление за последние сто лет, извергая копоть и дым, которыми был покрыт весь город.

Билл Лэнг, который в тот момент заведовал одновременно двумя бюро — «Time» и «Life», — каким-то чудом смог арендовать квартиру на холме с ванной и горячей водой. Первый день после возвращения в Неаполь я провел, отмокая в этой ванне. Затем я отправил в редакцию все свои негативы, озаглавив их «Трудная война», и попросил своего начальника отправить меня в Лондон снимать операцию по освобождению Франции. Через две недели «Life» прислал телеграмму. В ней было сказано, что моя «Трудная война» пришлась очень к месту, фотографии выйдут на семи первых полосах номера, а отправить меня в Лондон можно без проблем.

Я направил армейскому начальству запрос на свой перевод в Англию и начал паковать вещи. В противоположном углу комна-

ты паковал вещи Билл Лэнг. У меня в руках было кружевное белье, купленное для Пинки, а у него — длинное зимнее исподнее и пара новых походных ботинок. Когда я сказал, что отправил Пинки телеграмму с просьбой забронировать самые элегантные апартаменты Лондона, он в ответ молча показал лопату нового типа, которой можно вырыть отличный окоп. Я смутился. Потом отложил кружавчики Пинки и спросил у Билла, к чему он готовится.

Он подвел меня к окну. Неапольская гавань была уставлена уже такими знакомыми десантными баржами. Ну как военный корреспондент может пропустить военную операцию? Это все равно что отказаться от свидания с Ланой Тёрнер, отсидев пять лет в застенках Синг-Синга. Лане Тёрнер я предпочитал мою Пинки, да и пять месяцев на фронте возбуждают чувства не хуже тюремного срока, но я все-таки спросил: «Можно ли еще попасть на представление?»

Мой простодушный друг все устроил. «Тебя приписали к рейнджерам. Полковник Дарби ждет тебя с твоей фототехникой завтра утром».

Я никак не мог понять, куда и как мы собираемся вторгаться. В резерве 5-й армии было всего две измученных войной дивизии и небольшой батальон рейнджеров. Но тогда мы еще хранили веру в то, что «там, наверху», знают, что делают, и предполагали, что существуют хорошо засекреченные армии, готовые на своих кораблях ринуться нам на помощь из разных портов Северной Африки. На этой, нашей войне пока еще не возникало вопросов относительно общей стратегии. Мало кто из нас был способен задавать вопросы, а уж отвечать на них не мог вообще никто.

УЩЕЛЬЕ МОСКОСО (ВОЗЛЕ КАССИНО), 4 января 1944 года.
Беженка из горных районов.



Я прекрасно знал, каким долгим и скучным бывает ожидание на десантном корабле, поэтому в штаб полковника Дарби я приехал с ящиком испанского бренди. Полковник по-прежнему недолюбливал фотографов, но ничего против меня лично он не имел, а уж против бренди — тем более.

Последние три недели рейнджеры провели в маленькой гавани к северу от Неаполя в ожидании начала операции, и многие из них были не в силах устоять перед итальянскими девушками, жадными до армейских пайков. Это было подходящее время для установления тесных дружеских связей. Полковник не возражал. «Мужчина, не способный любить, не способен драться».

Чтобы сбить с толку вражеских шпионов и женщин-болтушек, рейнджерам было велено распространять слухи, будто они собираются домой. В то утро, когда мы грузились на корабль, сотни итальянских красоток пришли в порт, чтобы попрощаться, напомнить своим друзьям про обещанные визы и забрать оставшиеся боевые пайки. Выглядело это весьма гротескно: солдаты, сидя на причале в начищенных ботинках, левой рукой обнимали ящики с пайками, а правой — талии своих подруг.

К полудню все наконец взошли на борт, и мы подняли якорь. Дарби позвал меня в оперативный штаб и рассказал, что мы держим курс на Анцио, это всего лишь в пятидесяти милях от Неаполя, и прибудем туда в полночь. Это была плохая новость: я рассчитывал, что плыть мы будем долго, а ящик бренди, между прочим, обошелся мне на черном рынке в 150 долларов. Мы не управимся с ним за двенадцать часов, а я с трудом мог представить, как я буду десантироваться и идти по шею в воде, держа при этом на голове ящик бренди.

Мы с Биллом Лэнгом вернулись в нашу каюту и попросили стюарда принести штопор. Стюард оказался приветливым уроженцем Лондона. Он посмотрел на наше бренди и напомнил, что мы находимся на борту судна, принадлежащего королевскому флоту, а королевский флот посуху не ходит. Это означает, что мы можем купить столько шотландского виски, сколько захотим, по

восемь шиллингов за бутылку. Он просто резал нас без ножа! Мы заказали бутылку виски, запихали по две бутылки бренди в свои рюкзаки, а остальное раздали бойцам.

В полночь мы пересели на штурмовые баржи. Британский флот аккуратно доставил нас почти на берег, высадив ярдах в сорока от суши, где воды было всего лишь по пояс.

Никто не препятствовал нашей высадке, а стрельба, доносившаяся со стороны берега, минут через двадцать стихла. Операция оказалась полной неожиданностью для противника, мы застали немцев со спущенными штанами. Штаб разместили в подвале шикарного казино. Там я открыл рюкзак, чтобы переодеть свои мокрые штаны.

Испанское бренди, причинившее за этот день столько страданий, решило отомстить за то, что им пренебрегли, и вытекло из бутылок, замочив всю сухую одежду. Штаны, пропитанные соленой водой, пришлось менять на штаны, пропитанные бренди. Букет был великолепен, ничего нельзя сказать, но ночью мне было как-то неуютно. Утром солнце высушило одежду, и настроение мое улучшилось. Все немцы были либо убиты, либо захвачены в плен. Нам досталась итальянская копченая колбаса, швейцарский сыр, норвежские сардины, голландское масло и мюнхенское пиво — все это мы нашли на складах германской армии. Первые сутки в Анцио сулили нам много прекрасного. Рим был всего в двадцати пяти милях, мы рассчитывали добраться до него меньше чем за две недели. Как потом оказалось, только эти первые сутки и были счастливыми для тех, кому довелось застрять на этом проклятом побережье.

Пресс-служба разместилась на вилле у самого моря, там я нашел всех знакомых корреспондентов целыми и веселыми. В ожидании новостей из штаба корпуса мы сели за дро-покер. Из окна было видно, как нескончаемой вереницей в гавань приходят суда, выгружая солдат и орудия. Между партиями я вставал и фотографировал через оконный проем. Анцио все еще казался самой приятной из военных командировок.

Во время очередной партии в покер наши зенитки открыли огонь. В синем небе прямо над виллой летели двадцать четыре немецких бомбардировщика. Они сбрасывали снаряды на разгружающиеся корабли. Я навел камеру и сделал красивый снимок грузового корабля, взорвавшегося в двухстах ярдах от меня, а то и меньше.

Бомбардировщики улетели, я вернулся к игре и рассказал об ужасающей сцене, которую я только что снял. Кларк Ли нетерпеливо тербил карты. «Будь любезен, не говори о работе, когда играешь в покер».

Я посмотрел на свои карты и увидел пару пятерок. В дро-покере это не очень сильная комбинация, но я был обижен отношением Кларка к моей профессии. Я поставил сто долларов, надеясь, что мне это сойдет с рук.

Дон Уайтхед из «Associated Press» посмотрел на свои карты, потом на меня. «Эй ты, венгерский шарлатан, — сказал он. — Ни черта у тебя нет на руках. Поднимаю до двухсот».

Когда подошла очередь Кларка, он сказал: «Я не иду у вас на поводу, я просто хочу узнать, кто блефует». Он еще поднял ставку, вывалив все свои деньги на центр стола.

Все это выглядело так, словно мы играем в покер в последний раз. Закончив повышать ставки, начали тянуть. Уайтхед сказал, что останется при своих, Кларк Ли попросил одну карту. Я взял три. Было очевидно, что мои пятерки погоды не сделают. Все свои деньги мы уже поставили на кон, так что оставалось только раскрыть карты. У Уайтхеда был стрит, Кларк продемонстрировал флеш, который он собрал. Уайтхед крикнул, а Кларк потянулся за деньгами.

Мне было не слишком интересно смотреть на свои карты, я стал выкладывать их по одной. Первыми легли две мои пятерки, следом была еще одна счастливая пятерка, четвертой картой была тройка, и все решала пятая карта — пятерка! Итого четыре пятерки.

Больше я за время войны в покер не выигрывал. Та удачная игра оказалась такой же обманчивой, как легкая высадка в Анцио.

На пятый день пребывания в Анцио мы поняли, что Рима нам не видать еще долго, и стоит радоваться тому, что мы все еще удерживаем маленький кусочек земли, занятый при высадке. Немцев оказалось гораздо больше, чем нас, и на всем прибрежном плацдарме не осталось ни одного квадратного ярда, который бы не просматривался противником и куда он не мог бы бросить снаряд.

Журналисты перебрались в подвал пресс-виллы и долго не решились высунуться. Каждый раз, садясь в джип, я клал между ног спальник. Я подумал, что если в меня сейчас, накануне лондонского отпуска, попадут, то пусть уж лучше отстреляют голову.

Приказ о моем направлении в Лондон лежал у меня в кармане, и каждый день я собирался уехать назавтра.

На этом обреченном плацдарме снимать было нечего. Мы ежедневно узнавали, что минувшей ночью погиб кто-нибудь из лучших ребят. Мы перестали играть, перестали выпивать и бриться. Мы не делали репортажи и, как солдаты, ждали только своего снаряда или весны.

В конце февраля мне пришло сообщение от Криса. Он написал, что 9-е транспортное соединение перебрасывают в Лондон и самолет будет ждать меня в Неаполе.

Я уехал из Анцио на санитарном корабле. Целое судно тяжело раненых, и только я один целый и невредимый.

VIII

Мы взлетели и сделали круг над Неаполем. С высоты тысячи футов городок снова казался симпатичным, а война — далекой. Мы летели над Салерно, а под нами из воды торчали мачты потопленных кораблей. С воздуха новые руины сицилийских городов почти невозможно было отличить от руин Агридженто, разрушенного две тысячи лет назад.

Поля битв, о которых еще полгода назад кричали все газеты, теперь превратились в обычные пастбища, густо усеянные воронками. Мы вновь повторяли путь, который недавно прошла наша армия. Это все равно что оказаться на съемочной площадке через две недели после окончания работы над фильмом: повсюду все еще валяется реквизит. Самая секретная съемочная площадка — это море. Здесь весь реквизит тихо лежит на дне.

Североафриканский берег остался позади. Мы старались не вспоминать о трех минувших кампаниях и не думать о грядущей. Мы с Крисом болтали о том, что будем делать в Лондоне в первый день после возвращения. Я рассчитывал оказаться там до полуночи. Я неожиданно появлюсь в великолепных апартаментах, которые арендовала для нас Пинки. Пока я буду отмокать в ванне, она приготовит завтрак: яичницу и хлебцы с джемом. Я надену темно-синий костюм и белую сорочку, она сделает прическу и наденет свое лучшее вечернее платье.

Пообедаем в «Boulestin's», закажем бутылку «Krug 1928 года». Потом отправимся в клуб «Cocoanut Grove». Туда же придет Крис, и я разрешу ему пару раз станцевать с Пинки.

Крис, выслушав эту повестку дня, предположил, что у Пинки наверняка есть подружка. Я заверил, что у нее десятки подружек, он может быть спокоен.

В Лондоне мы были в семь вечера. Пинки сняла для нас квартиру в самом шикарном доме на Белгрейв-сквер. Имена жильцов были написаны белыми буквами на большой черной доске в вестибюле. Первый этаж занимала вдова какого-то титулованного господина; второй и третий — лорд такой-то и маршал авиации Н. На четвертом этаже жил посол фашистской Испании. На пятом — доктор, на шестом — лейтенант-коммандер. На самом верху, в пентхаусе, жили Капа и Пинки.

Мы с Крисом поднялись на лифте на последний этаж. Я вставил ключ в замок и трижды позвонил, прежде чем войти. Холл был пуст, но в одной из комнат горел свет и было слышно, что там кто-то есть. Из дверей вышло пузо, а затем его обладательница. Ее молодое, симпатичное лицо обрамляли светло-каштановые волосы. Ее ребенок, похоже, был уже несколько переносен.

Крис растерялся. «Почему ты мне ничего не рассказал?» — спросил он.

Девушка внимательно посмотрела на нас и обратилась ко мне. «Вы, должно быть, Капа. Я Мона Клайн, подруга Элен».

«Как это не рассказал? — возразил я Крису. — Я же говорил, что у Пинки есть подружки!» Я сказал Моне, что рад с ней познакомиться, и спросил, где Пинки.

Она смущенно сказала: «Ее аппендицит обогнал Вас». И быстро добавила: «Но сейчас с ней уже все в порядке». Она рассказала, что Пинки ждала меня четыре недели, каждый день откладывая операцию на завтра. Но минувшей ночью аппендикс разорвался, и ей пришлось срочно лечь в больницу. «Ей уже разрешили поговорить со мной по телефону, — успокоила она, — но я думаю, вам лучше подождать до утра. Ей сейчас нельзя волноваться».

Вечер я провел с Крисом в ближайшем пабе. Ночью, пока я лежал с открытыми глазами, он радостно храпел в нашей огромной кровати в стиле Людовика XIV.

Рано утром я вышел на улицу и накупил всевозможных цветов. Взяв их в охапку, я пошел в больницу. Маленькая медсестра встретила меня у дверей палаты. «Как хорошо, что Вы приехали, мистер Паркер. Ваша жена все время звала Вас, лежа под наркозом».

Бледно-розовое пятно на белой подушке прошептало: «Пожалуйста, отвернись, мой милый Капа». Я отвернулся и стал смотреть на стену, пока не услышал: «А теперь поворачивайся».

У розового пятна теперь были глаза, ресницы и губы, а в палате запахло духами «Agrége». Но тушь уже стекала по лицу Пинки. «Я так хотела дождаться тебя...» Скоро ее глаза высохли и я услышал голос настоящей Пинки. «Рубец у меня на животике будет похож на лотарингский крест — он очень симпатичный и скоро станет почти незаметным».

Ко мне вернулся голос. Я пообещал, что буду ухаживать за этой отметиной. Пришел врач и поздоровался со мной, назвав мистером Паркером. Я попросил звать меня Капой, объяснив, что это мое прозвище. Он вывел меня в коридор и сообщил, что нам следует быть как можно осторожнее, поскольку Пинки слишком долго тянула с операцией. Я был очень расстроен.

Доктор ушел, и в палату вошла какая-то милая женщина. Она обратилась ко мне: «Я — мама Элен, а ты — очень плохой мальчик». Нам разрешили еще немного посидеть у Пинки, и у нас состоялся приятный семейный разговор.

В мае 1944 года Лондон начал лихорадочно готовиться к военной операции. Город наводнили люди в ооновской форме, а из пабов почти исчез виски. Единственным оазисом в этой пустыне было местечко под названием «Little French Club». Заведение держала одна английская интеллектуалка, симпатизировавшая французам. Солдаты Свободной Франции получали самое низ-

кое жалование среди Объединенных Наций, а выпить им хотелось больше всех, в клубе же напиться можно было буквально за копейки. Более того, там каким-то таинственным образом не переводился шотландский виски. Ирвин Шоу и Билл Сароян, два рефлексирующих интеллектуала, служившие рядовыми в американских войсках, убедили хозяйку, что они обожают Францию, и их приняли в клуб. Известие об их высадке на территории Свободной Франции быстро распространилось среди других измученных жаждой американских интеллектуалов. Началось постепенное проникновение в тыл противника. Я искал симпатичное место и хотел виски, вот мне и предложили тоже попробовать втереться в доверие. Квота на американских членов клуба давно была превышена, но меня все-таки приняли. В качестве Свободного Венгра.

Там я и провел второй вечер своих лондонских каникул. К трем ночи я оттуда выбрался и взял курс на свое великолепное жилище. Моя соседка Мона не спала. Она настолько не спала, что я быстро сообразил: нас вот-вот станет трое. Мы помчались в роддом. Мона была в таком состоянии, что ее приняли без промедления, а меня отправили вниз, в отделение для будущих отцов. Человек в американской военной форме, готовящийся стать папой, был в Лондоне все еще явлением редким, поэтому все взволнованные английские отцы на минуту забыли про свои заботы, обступили меня и принялись уверять, что все у нас будет хорошо.

В одиннадцать вошла медсестра и объявила: «Мистер Клайн, Вы стали отцом прекрасного мальчика».

Крис вернулся из суточной командировки в Мидлендс, где стояло 9-е транспортное соединение. Он полюбовался малышом мистера Клайна, после чего мы отправились в больницу к Пинки. Там он полюбовался девушкой мистера Паркера. Вечером мы пошли в «Little French Club», где он имел успех как прекрасный рассказчик. Он пересказал историю мистера Паркера и мистера Клайна — бюджетный вариант истории доктора Джекила и мис-

тера Хайда в исполнении Эббота и Костелло. Американские экспатрианты выразили свой восторг, навестив на следующий день Мону и Пинки и завалив их палаты цветами и гарнизонными пайками.

Слухов о начале операции ходило все больше, и с каждым днем в городе становилось все больше важных персон. Эрнест Хемингуэй, едва различимый за своей чудовищной каштановой с проседью бородой, вступил в «Little French Club» одним из последних. Смотреть на него было одно расстройство, но я был очень рад снова его повстречать. Мы познакомились в 1937 году в лоялистской Испании. Я был тогда молодым фотографом без постоянной работы, а он — очень известным писателем. У него было прозвище «Папа», и довольно быстро я взял его себе в отцы. За эти годы ему не раз пришлось выполнять свои родительские обязательства, и теперь он был рад встретить своего приемного сына, не нуждающимся в наличии. В доказательство своей привязанности и благополучия я решил закатить вечеринку в своих бесполезных и очень дорогих апартаментах.

В один из своих ежедневных визитов в больницу я поделился с Пинки своей идеей, и она согласилась при условии, что я тайком притащу ей бутылку шампанского. Она призналась, что у нее в платяном шкафу спрятаны десять бутылок виски и восемь — джина. Это был неиспользованный ею винный паек за десять месяцев моего отсутствия.

Виски и джин любезно включали в состав пайков, хотя бренди и шампанское можно было легко купить по тридцать долларов за бутылку. В день вечеринки я купил стеклянное ведро для коктейля, ящик шампанского, немного бренди и полдюжины свежих персиков. Я замочил персики в бренди и залил все это шампанским. Все было готово.

Устоять перед дармовой выпивкой и встречей с господином Хемингуэем было невозможно. В Лондоне перед началом военной операции собрались буквально все, и каждый счел нужным

прийти ко мне на вечеринку. Пили виски, шампанское и бренди. Джин тоже пили.

Почетный гость сидел в углу и болтал с моим другом-доктором о «доброкачественной опухоли», или «паразитарном сикозе», заставившем его отпустить бороду.

К четырем утра мы добрались до персиков. Бутылки опустели, ведро тоже, гости стали постепенно расходиться. Доктор предложил отвезти Хемингуэя в отель. Я доел персики и пошел спать.

В 7 утра зазвенел телефон. Звонили из больницы. Сказали что-то про Хемингуэя и попросили прийти в реанимацию. Там на операционном столе лежали все 215 фунтов Папы. Череп у него был расколот, вся борода в крови. Врачи собирались вколоть ему наркоз и начать сшивать голову. Папа вежливо поблагодарил меня за вечеринку и попросил присмотреть за доктором, который врезался в цистерну с водой по пути в гостиницу и, очевидно, тоже был ранен весьма серьезно. Еще он поручил мне сообщить его детям в США, чтобы они не верили газетам: с их отцом все не так уж плохо. Папе наложили 48 маленьких швов, и его голова стала выглядеть, как новая.

В реанимации, услышав, что я называю его «папой», меня стали называть мистером Капой Хемингуэем.

Стоял конец мая. В Англии светило жаркое солнце, начало кампании все откладывалось и откладывалось, больницы уже перестали забавлять. Я любил Пинки, но хотел бы уехать на войну и вернуться тогда, когда она сможет встречать меня на вокзале. Мне надоело шататься по городу и ходить в больницу, где Пинки сидела взаперти, окруженная цветами и медсестрами. Ей все это надоело еще больше, чем мне.

Наконец ее выпустили при условии, что она проведет не менее двух недель в санатории. Располагался он в тридцати милях от Лондона, в Аскоте, им заведовали сестры ордена св. Марии.



ЛОНДОН, май 1944 года. Эрнест Хемингуэй лечится в больнице после вечеринки Капы. По дороге домой он попал в автоаварию: машина, ехавшая по темным улицам, врезалась в стальную цистерну с водой.

Я отнес Пинки в арендованную мной машину. Сказал водителю ехать в Аскот. «Белгрейв-сквер, 26», — возразила Пинки. «В Аскот, пожалуйста», — повторил я. «Ты не имеешь права... ведь это мой живот!» Живот-то у нее был, но вот права выбора не было.

Позади остались окрестности Лондона. Вокруг расстилались зеленые поля. Мы въехали в весну. «Всего на две недели!» — сказал я.

«Никогда не прощу тебе ни одного из этих дней».

Сестры были добры, комната оказалась уютной, а из окна открывался замечательный вид. Но мне надо было возвращаться в Лондон.

«Little French Club» был утомителен, Белгрейв ужасен, а я совершенно несчастен. Когда я в последний раз приехал в санаторий, Пинки гуляла по саду. Ее юбка снова хорошо сидела на талии. На ноги было приятно смотреть, но ходить на них еще было трудновато. Через день ее должны были выписать. Мы пошли в комнату. Сестра принесла нам чай. Я сказал Пинки, что у меня припрятана бутылка отличного шампанского. Вернувшись за подносом, сестра сообщила, что время свидания истекло. Я был в военной форме, а заголовок лежавшей на столе газеты гласил: «ГИТЛЕР: ВТОРЖЕНИЕ НАЧНЕТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ». Сестра взяла поднос и направилась к двери. Не оборачиваясь, она сказала: «Если Вы уйдете после того, как стемнеет, Вас никто не заметит».

Сопровождать передовые части в этом вторжении разрешили лишь несколькими десятками из сотен военных корреспондентов. Среди журналистов было четыре фотографа, и я был одним из них.

Нас собрали в пресс-службе и сказали, что с этого момента все вещи и аппаратура должны быть наготове, а сами мы не имеем права отлучаться из дома больше чем на час.

Это означало, что в Аскот мне не попасть.

Все необходимое у меня было, но я решил сделать несколько

покупок специально для этой кампании. В «Burberrys» я купил английский армейский дождевик, а в «Dunhill» — серебряную карманную фляжку. Теперь я был готов.

Ранним утром того самого дня, когда должна была вернуться Пинки, меня разбудил лейтенант из пресс-службы. Мне нельзя было никому говорить, что я уезжаю, нельзя было оставлять никаких записок. Но надо было заплатить за квартиру, и лейтенант разрешил мне расписаться на чеке и оставить его на туалетном столике, прижав флаконом «Agrége». Я надеялся, что Пинки все поймет.

IX

Лето 1944 года

Раз в году, обычно где-то в апреле, в каждой приличной еврейской семье отмечается Пасха — иудейская версия Дня Благодарения. Празднуют ее в самом деле по тем же правилам, что и День Благодарения, с той разницей, что на пасхальном столе есть не только индейка, но и много чего еще, а детей очень старого света пучит еще больше, чем детей очень нового света.

Когда обед наконец подходит к концу, отец садится в кресло и закуривает дешевую сигару. В этот ответственный момент младший сын (коим долгие годы был я) подходит к нему и спрашивает на священном еврейском языке: «Чем отличается этот день от всех остальных?» После этого отец с огромным удовольствием, смакуя подробности, рассказывает историю о том, как много тысяч лет назад в Египте ангел разрушения обошел стороной первенцев Избранного народа и как генерал Моисей провел этот народ через Красное море, и никто даже не замочил ног.

Гои и евреи, пересекавшие 6 июня 1944 года Ла-Манш и высадившиеся с чрезвычайно мокрыми ногами на берегу Нормандии в секторе с названием «Easy Red», должны каждый год отмечать эту Пасху. Их дети, слолав пару банок консервов из боевого пайка, должны спрашивать отцов: «Чем этот день отличается от всех остальных?» Я бы в ответ рассказал примерно такую историю.

Огромные толпы приговоренных провести весну на французских пляжах собрали в концентрационных лагерях на юго-восточном побережье Англии. Колючая проволока тянулась вокруг лагерей, а всякий зашедший на их территорию автоматически оказывался одной ногой в Ла-Манше.

В этих лагерях нас готовили к предстоящему путешествию. Кровные доллары и фунты заставляли менять на «десантные франки», напечатанные на тонкой бумаге. Нам выдали длинные списки с перечислением всего того, что должен носить галантный кавалер на пляжах Франции в модном сезоне 1944 года. Кроме того, мы получили маленькие брошюры, рассказывающие о том, как обходиться с местными жителями и как с ними разговаривать. В них были разные полезные фразы. «*Bonjour, monsieur, nous sommes les amis américains*». Это если обращаешься к мужчине. «*Bonjour, mademoiselle, voulez-vous faire une promenade avec moi?*» Это — если к девушке. Первая фраза означала: «Мистер, не стреляйте в меня». Вторая могла означать что угодно.

Были там и другие советы. Они касались общения с представителями еще одной страны, которых мы по ряду причин ожидали в большом количестве встретить на том берегу. Удобный разговорник в этом разделе позволял предложить немцам сигареты, горячие ванны и любые другие удовольствия в обмен на простой акт безоговорочной капитуляции. Эта брошюра оказалась действительно жизнеутверждающим чтивом.

Все, что было на нас надето, защищало от газовой атаки, было водонепроницаемо и окрашено во все цвета будущего пейзажа. Подготовившись таким образом, мы стали ждать дня «D».

Нам всем был поставлен странный диагноз — «амфибия». Быть солдатами-амфибиями означало только одно: сперва нам будет плохо в воде, и лишь потом — на берегу. Это не минует никого. Единственное существо, являющееся амфибией и одновременно радующееся жизни, — это крокодил. «Амфибия» бывает разной степени, и те, кому суждено десантироваться в первых рядах, будут страдать от этого недуга сильнее всех.



НА БОРТУ ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ «SAMUEL CHASE», СТОЯЩЕГО НА ЯКОРЕ В ВЕЙМАУСЕ, АНГЛИЯ, 1–5 июня 1944 года. Обсуждение деталей высадки в Нормандии с помощью модели секторов побережья, носящего кодовое название «Берег Омаха».

Гавань Веймаус дождалась своего звездного часа. Линкоры, корабли для перевозки войск, транспортные корабли и десантные баржи — все смешалось в одну кучу. Над всем этим в небе плавал загадочный шар, собранный из сотен серебристых аэростатов. Собирающиеся во Францию туристы принимали солнечные ванны и лениво наблюдали за гигантскими резиновыми игрушками, которые грузили на борт. При должном оптимизме все это можно было счесть за новое секретное оружие, особенно если смотреть издалека.

Все население американского корабля «Chase» делилось на три категории: стратеги, игроки и составители последних писем. Игроки обитали на верхней палубе. Они собирались вокруг пары крошечных игровых костей и кидали тысячи долларов на одеяло, постеленное вместо зеленого сукна. Составители последних писем, ютясь по углам, исписывали листы бумаги красивыми фразами, завещая все свои любимые игрушки младшим братьям, а деньги — семье. Что до стратегов, то они собирались в спортзале в трюме корабля. Лежа на животах, они разглядывали резиновый ковер, на котором были расставлены миниатюрные модели всех домов и деревьев французского берега. Командиры взводов прокладывали путь между резиновыми поселками и искали укрытия за резиновыми деревьями и в резиновых окопах, вырытых в ковре.

Еще у них были маленькие модели всех кораблей, а на стенах были развешены таблички с названиями побережий и отдельных секторов: «Fox Green», «Easy Red» и так далее. Все вместе эти сектора составляли так называемый «Берег Омаха». Адмирал и его свита присоединились к интеллектуальным упражнениям в спортзале и гоняли маленькие кораблики, пытаясь добраться до секторов, обозначенных на стенах. Они играли в эту игру явно со знанием дела. Чем дольше я смотрел, как эти джентльмены, увешанные медалями, играют на полу в кораблики, тем страшнее мне становилось.

Я следил за перемещениями фигурок в спортзале вовсе не из вежливости. Корабль «Chase» служил плавучей базой для мно-

жества десантных барж, которые должны были отделиться от него в десяти милях от французского берега. Мне надо было сосредоточиться и выбрать, на какой барже плыть и за какое резиновое дерево прятаться на берегу. Это напоминало мне разглядывание лошадей на ипподроме за десять минут до начала скачек. Еще пять минут, и придется делать ставки.

С одной стороны, боевые задачи роты «В» казались интересными, и идти с ними было относительно безопасно. С другой стороны, я хорошо знал роту «Е» и лучшие кадры снял, когда был с этими ребятами на Сицилии. Мои размышления о том, какую из этих двух рот выбрать, прервал полковник Тейлор, командир 16-го пехотного полка 1-й дивизии. Он предупредил, что штаб полка пойдет сразу за первой волной пехоты, и если я пойду с ним, то не пропущу представление и буду в относительной безопасности. Это было заявкой на победу: можно было ставить два к одному, что к вечеру я буду все еще жив.

Здесь мой сын может перебить меня и спросить: «В чем отличие военного корреспондента от всех остальных людей в военной форме?» Я отвечу так. У военного корреспондента по сравнению с солдатом больше выпивки, девушек, денег и свободы, а на этой стадии игры он может выбирать, где ему находиться, может позволить себе быть трусом и не бояться никакого наказания, кроме мук совести. Военный корреспондент может сделать ставку (а ставка — жизнь) на какого угодно скакуна, а может в последний момент вообще забрать ее обратно.

Я игрок. Я решил отправиться вместе с первыми солдатами роты «Е».

Утвердившись в намерении пойти в атаку в первых рядах, я стал убеждать себя, что операция будет пустячной и что все разговоры о «неприступной западной стене» не более чем немецкая пропаганда. Я вышел на палубу и внимательно посмотрел на удаляющийся английский берег. Бледно-зеленое сияние исчезающего острова так взволновало меня, что я присоединился к легиону составителей последних писем. Я написал, что брат может забрать себе мои лыжные ботинки, а мать может пригласить к себе кое-кого из Ан-

глии. Все это показалось мне омерзительным, и я не стал отправлять письмо. Я сложил его и засунул в нагрудный карман.

Теперь я присоединился к третьей категории. В 2 часа ночи партию в покер прервал корабельный динамик. Мы убрали деньги в водонепроницаемые поясные кошельки. Нам грубо напомнили, что Неизбежное неумолимо приближается.

На меня нацепили противогаз, надувной спасательный круг, лопату и еще какие-то штуковины. На руку я накрутил дорожный дождевик, купленный в «Burberry». Я был самым элегантным воином-освободителем.

Предбоевой завтрак подали в три ночи. Матросы с «Chase» в безупречно-белых куртках разносили горячие пирожки, сосиски, яйца и кофе. Делали они это необыкновенно энергично и учтиво. Однако желудки перед десантированием отказывались принимать пищу, поэтому большая часть столь трогательных кулинарных усилий оказалась напрасна.

В четыре утра нас собрали на верхней палубе. Десантные баржи покачивались на корабельных кранах, готовые к спуску на воду. Две тысячи человек в полнейшей тишине замерли, ожидая первого луча нового дня. Каждый думал о своем. Это была своего рода молитва.

Я тоже стоял, не шевелясь. Думал обо всем понемногу: о зеленых полях, розовых облаках, пасущихся овцах, хороших временах, а особенно усердно — о том, какие у меня будут отличные снимки. Все ждали очень терпеливо и готовы были еще очень долго стоять в темноте. Но солнцу не у кого было узнать, чем этот день отличается от всех остальных, и оно поднялось над горизонтом в обычный час. Первые отряды перебрались в баржи, и нас, как на медленном лифте, опустили на воду. Море было беспокойным, и мы промокли еще до того, как баржа отошла от плавучей базы. Стало понятно, что у народа, который генерал Эйзенхауэр поведет через Ла-Манш, не останутся сухими ни ноги, ни что бы то ни было еще.



НА ЯКОРЕ ВОЗЛЕ БЕРЕГА ОМАХА, НОРМАНДИЯ, 6 июня 1944 года.
Рано утром в день «D» американские войска пересаживаются на суда, которые доставят их на береговой плацдарм.

Солдат тут же стало тошнить. Но эта высадка была спланирована не просто тщательно, но даже изысканно: всем предусмотрительно выдали небольшие бумажные пакеты. Вскоре, однако, рвотой оказалось залито все вокруг. Я подумал, что вот в этом — вся суть любого дня «D».

До берегов Нормандии еще оставалось несколько миль, когда нашего настороженного слуха достиг первый недвусмысленный «бульк». Мы пригнулись к заблеванной воде, плескавшейся на дне баржи. В сторону надвигающегося берега смотреть не хотелось. Навстречу нам прошла первая пустая баржа, высадившая солдат и плывшая обратно к «Chase». Чернокожий боцман радостно улыбнулся и растопырил пальцы буквой V. Уже стало достаточно светло, чтобы начать снимать, и я вынул первый «Contax» из водонепроницаемой сумки. Плоское дно баржи коснулось французской земли. Боцман опустил стальной передний борт. За металлическими ежами, торчащими из воды, виднелась тонкая линия берега, затянутая дымом. Вот мы и в Европе, вот нам и «Easy Red».

На мою прекрасную Францию жалко было смотреть. Она выглядела убогой и неприветливой, а немецкий пулемет, поливавший огнем баржу, окончательно испортил впечатление. Солдаты из моей баржи прыгнули в воду. Они шли по пояс в воде, с винтовками наготове, и вместе с заграждениями и дымящимся пляжем составляли отличную композицию. Я на минуту задержался на сходах, чтобы снять первую настоящую фотографию десантирования. Боцман, который по понятным причинам торопился выбраться из этого ада, неправильно понял мою задержку. Он подумал, что я боюсь покинуть баржу, и помог мне решиться, дав хорошего пинка под зад. Вода оказалась холодной, а до берега все еще оставалось больше ста ярдов. Пули дырявили волны вокруг меня. Я направился к ближайшему стальному ежу. Одновременно со мной до него добрался один из бойцов, и несколько минут мы с ним прятались за этим укрытием. Он снял водонепроницаемый чехол с винтовки и принялся палить, не особо целясь, в сторону берега, скрытого пеленой дыма. Звук выстрелов

его винтовки придал ему достаточно мужества, чтобы двигаться вперед. Он ушел, и в моем распоряжении оказалось всё укрытие, ставшее теперь на фут шире. Теперь я был в безопасности и мог снимать других солдат, которые прятались точно так же, как я.

Было по-прежнему слишком раннее и слишком темное для качественной съемки утро, но на фоне серой воды и серого неба очень эффектно смотрелись маленькие человечки, притаившиеся за сюрреалистичными инсталляциями гитлеровских дизайнеров.

Я закончил снимать. В моих штанах бултыхалось холодное море. Я несколько раз неохотно высовывался из-за своей железки, но свистящие пули загоняли меня обратно. В пятидесяти ярдах от меня из воды выглядывал наш полусожженный танк-амфибия. Это было ближайшим укрытием. Я оценил ситуацию. Дождевик оттягивал мне руку, а пригодиться он вряд ли мог. Выбросив его, я направился к танку. Пробираться к нему пришлось, минуя плавающие на поверхности воды тела. Я остановился у танка, сделал несколько снимков и собрал волю в кулак, чтобы совершить последний рывок к берегу.

Теперь немцы играли на всех своих инструментах. Пули и снаряды летели настолько плотно, что преодолеть последние двадцать пять ярдов было невозможно. Пришлось спрятаться за танк и повторять фразу, привязавшуюся ко мне во время Гражданской войны в Испании: «Es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria». Это очень серьезно.

Начался прилив. Вода дошла до нагрудного кармана, в котором лежало прощальное письмо семье. Под прикрытием двух последних солдат я дошел до берега. Бросился на землю, и губы мои коснулись французской земли. Целовать ее не хотелось.

У фрицев было еще полно снарядов, и больше всего мне хотелось зарыться сейчас под землю, а наверху оказаться как-нибудь попозже. Однако вероятность того, что все произойдет с точностью до наоборот, с каждой минутой возрастала. Я огляделся и обнаружил рядом с собой лейтенанта, с которым мы ночью играли в покер. Он спросил, знаю ли я, что он видит. Я не

знал. Вряд ли он мог разглядеть что-нибудь поверх моей головы. «Я расскажу тебе, что я вижу, — прошептал он. — Я вижу, как моя мама, стоя у парадного подъезда, машет моим страховым полисом».

Сен-Лорен-сюр-Мер раньше, наверное, было скучным, дешевым курортом, где проводили свои отпуска французские школьные учителя. Теперь же, 6 июня 1944 года, это был самый уродливый пляж в мире. Уставшие от воды и страха, мы лежали на узкой полосе мокрого песка между морем и колючей проволокой. Пока мы лежали неподвижно, склон у берега обеспечивал какую-никакую защиту от пуль, однако прилив подталкивал нас к колючке, а там у пушек был в самом разгаре охотничий сезон. Я подполз на животе к своему другу Ларри, ирландскому полковому капеллану, который очень профессионально выкрикивал страшные проклятья. Он зарычал на меня: «Чертов французский прихвостень! Если тебе тут не нравилось, какого дьявола ты вернулся?» Получив сие религиозное утешение, я вынул свой второй «Contax» и начал снимать, не поднимая головы.

С воздуха сектор «Easy Red», должно быть, выглядел, как открытая банка сардин. Угол зрения сардины позволял заполнить передний план фотографий лишь мокрыми ботинками и бледными лицами. На заднем плане был дым, горящие танки и тонущие баржи. У Ларри нашлась сухая сигарета. Я дотянулся до набедренного кармана, вынул серебряную фляжку и протянул ее Ларри.

Он повернул голову на бок и сделал глоток уголком рта. Препятствием вернуть флягу мне, он дал ее еще одному моему приятелю, еврейскому доктору, который умело воспроизвел метод Ларри. Уголок моего рта для этой задачи тоже оказался приспособлен весьма неплохо.

Минометный снаряд упал между колючкой и морем, и каждый его осколок нашел свою жертву. Ирландский священник и еврейский врач были первыми, кто поднялся с земли в секторе

«Easy Red». Я сделал снимок. Следующий снаряд упал еще ближе. Я боялся смотреть куда-либо, кроме видеоискателя «Contax», и неистово снимал кадр за кадром. Через полминуты камера щелкнула — кончилась пленка. Я полез мокрыми, трясущимися руками в рюкзак за новым роликом и засветил его, не успев вставить в камеру.

Я задержался на мгновение... и тут мои нервы сдали.

Пустой фотоаппарат дрожал у меня в руках. Страх сотрясал все тело, от кончиков пальцев до волос, и сводил судорогой лицо. Я расчехлил лопату и попытался вырыть ямку. Под песком оказался камень. Я отбросил лопату. Солдаты вокруг меня лежали, не шевелясь. Лишь набегавшие волны перекатывали тела мертвых на линии прилива. Навстречу огню храбро шел десантный катер. Из него высыпали медики с красными крестами на шлемах. Я не мог думать и принимать решения. Я просто встал и побежал к лодке. Я шагнул в воду между двумя трупами. Воды было по шею. Меня хлестало приливом, каждая волна ударяла по лицу, спрятанному под шлемом. Камеры я держал высоко над головой. Вдруг до меня дошло, что я удираю. Я попробовал повернуться, но на берег смотреть не мог. «Я просто посушу руки на этой лодке».

Я добрался до катера. С него как раз спускались последние медики. Я забрался на борт. Добравшись до палубы, я почувствовал удар, и внезапно все вокруг оказалось в перьях. «Что это? — подумал я. — Кто-то режет кур?» Тут я увидел, что надстройку снесло, а перья сыпались из пуховок убитых людей. Капитан кричал. Его помощника разметало взрывом, и капитан весь был в его крови.

На разворотах:

БЕРЕГ ОМАХА, НЕДАЛЕКО ОТ КОЛЬВИЛЬ-СЮР-МЕР, НОРМАНДСКИЙ БЕРЕГ, 6 июня 1944 года. День «D». Высадка первых американских солдат.







БЕРЕГ ОМАХА, 6 июня 1944 года.



БЕРЕГ ОМАХА, 6 июня 1944 года.

Катер стал крениться, и мы начали медленно отходить от берега, надеясь добраться до плавбазы прежде, чем затонем. Я спустился в машинное отделение, высушил руки и зарядил новые пленки в обе камеры. Потом снова вышел на палубу, чтобы сделать последний снимок побережья, покрытого дымом. Потом снял, как врачи делают переливание крови прямо на палубе. Подошла десантная баржа и сняла нас с тонущего катера. Перевозка тяжелораненых по беспокойному морю — непростая задача. Я прекратил фотографировать и стал таскать носилки. Баржа доставила нас на «Chase» — тот самый корабль, который я покинул всего шесть часов назад. С него спускали последнюю партию солдат 16-го пехотного полка, а палубы уже были заполнены ранеными и убитыми, привезенными с берега.

Это был мой последний шанс вернуться на сушу. Я остался на борту. Матросы, которые в три часа ночи в белых куртках и перчатках разносили кофе, теперь, измазавшись кровью, зашивали белые пакеты с телами мертвых. Моряки поднимали носилки с тонущих барж. Я принялся фотографировать. Потом все смешалось...

Проснулся я в койке. Голое тело накрыто грубым одеялом. К шее привязана бумажка с надписью: «Переутомление. Жетон не найден». Фотосумка стояла на столе, и мне удалось вспомнить, кто я такой.

На соседней койке лежал еще один голый юноша. На его бумажке было написано лишь «Переутомление». Взгляд его был устремлен в потолок. «Я трус», — произнес он. Это был единственный солдат, выживший в танке-амфибии. Десять таких танков шли на Нормандию самыми первыми, впереди пехоты. Все они утонули в бурном море. Он сказал, что должен был остаться на берегу. Я рассказал, что и сам должен был остаться на берегу.

Двигатели гудели; наше судно шло в Англию. Всю ночь и я, и этот танкист били себя кулаками в грудь, сокрушаясь по поводу собственной трусости и убеждая собеседника в его невиновности.



БЛИЗИ БЕРЕГА ОМАХА, 6 июня 1944 года. Медицинский транспорт для раненых солдат передовых отрядов.



НА БОРТУ АМЕРИКАНСКОГО ВОЕННОГО КОРАБЛЯ «HENRICO», ВБЛИЗИ
БЕРЕГА ОМАХА, 6 июня 1944 года. Тела убитых в ходе первого эта-
па операции.

Утром мы пришвартовались в Веймаусе. Нас встречала толпа журналистов, с нетерпением ждущих рассказов из первых уст от людей, побывавших на берегу и вернувшихся обратно. Я узнал, что второй военный фотограф, допущенный к съемке Нормандской операции, вернулся двумя часами ранее. Он вообще не покидал корабль и берега даже не коснулся. Сейчас он вез в Лондон свои страшно сенсационные материалы.

Меня приняли как героя. Организовали самолет в Лондон, чтобы я мог рассказать о том, что видел. Но я еще слишком хорошо помнил минувшую ночь и поэтому отказался. Я сложил свои пленки в корреспондентскую сумку, переоделся и через несколько часов первым же кораблем снова отправился на береговой плацдарм.

Через неделю я узнал, что фотографии, снятые мной в секторе «Easy Red», признали лучшими снимками высадки в Нормандии. Но работник фотолаборатории так волновался, что при просушке перегрел негативы. Эмульсия поплыла прямо на глазах у сотрудников лондонской редакции «Life». Из ста шести фотографий спасти удалось только восемь. Подписи к фотографиям, размытым из-за перегрева, гласили, что у Капы ужасно тряслись руки.

Х

Вернувшись той же ночью на побережье, я нашел своих коллег в конюшне у дома нормандского крестьянина. Там они организовали первый пресс-лагерь на территории Франции. Они сидели на соломе, сгрудившись вокруг нескольких огарков свечей, и пили какую-то желтую жидкость из бочонка. Столом служила закрытая крышкой печатная машинка.

День «D» закончился двое суток назад, жидкость оказалась кальвадосом, а вечеринка — французскими поминками. Поминали меня. Сержант, видевший, как мое тело плывет по воде с камерами на шее, решил, что я мертв. Я отсутствовал сорок восемь часов, и за это время был официально признан погибшим. Мой некролог только что прошел цензуру. Внезапная материализация моего призрака, томимого жаждой, наполнила моих друзей отворачиванием к своим напрасно израсходованным чувствам. Меня познакомили с кальвадосом.

Плацдарм был слишком мал для обеспечения двухсот тысяч бойцов яблочной водкой. Цена на эту отраву четырежды удваивалась за то время, что мы готовились к освобождению

Шербура. Это был стратегически важный порт, а, кроме того, в сообщениях разведки упоминались великолепные французские вина, в невероятных количествах изъятые Вермахтом и хранящиеся в захваченной немцами крепости. К сожалению, в тех же сообщениях упоминалось и о диком количестве пушек всех калибров.

Я пошел в атаку с 9-й пехотной дивизией. Это было одно из опытейших подразделений, а его командир, генерал-майор Эдди, был очень напористым военным. Немцы ожесточенно оборонялись, сидя в своей хорошо укрепленной крепости, но все-таки недостаточно ожесточенно, чтобы воевать до последнего немецкого солдата, их хватило только до первого американца. Стоило ему подойти на опасное расстояние, как они поднимали руки, закричали «Kamerad!» и стали выпрашивать сигареты. Дивизия захватывала одну позицию за другой. Мужество вернулось ко мне, и я снял много фотографий в ближнем бою.

В день решающего наступления на Шербур я присоединился к одному из батальонов 47-го полка. Там были Эрн Пайл и мой важный начальник Чарльз Вертенбейкер, глава европейских отделений «Time» и «Life». Мы понимали, что у этого полка самые большие шансы первым войти в центр города. Нам страшно надоело ходить под пулями, но жажда не позволяла оставаться позади. На первых же улицах города нас встретили ливневым огнем. Немцы целились по нам из окон, приходилось прижиматься к стенам и двигаться короткими перебежками от двери к двери.

Чарли сказал, что уже слишком стар для игры в индейцев; Эрн ответил, что не только слишком стар, но и слишком напуган; я же заявил, что, во-первых, слишком молод, а во-вторых, не могу снимать под таким ливнем.

Нам было наплевать на то, что мы первые журналисты, вошедшие в Шербур, нам очень хотелось добраться до заветного винного склада. Так что мы продолжали продвигаться, болтаясь в хвосте батальона.



БЕРЕГ ОМАХА, июнь 1944 года. Французские рыбаки смотрят на тела солдат, убитых в день «D». Аэростаты в небе над пляжем мешают вражеской авиации, не позволяя самолетам пролетать на малой высоте.



Справа: БЕРЕГ ОМАХА, июнь 1944 года. Береговой плацдарм через несколько дней после высадки в Нормандии.



БЕРЕГ ОМАХА, июнь 1944 года. *Немецкий военный, взятый в плен американскими войсками.*



ВОЗЛЕ БЕРЕГА ОМАХА, июнь 1944 года. *Немецкие военные, захваченные в плен американскими войсками, хоронят солдат, убитых во время высадки в Нормандии.*



НОРМАНДСКИЙ БЕРЕГОВОЙ ПЛАЦДАРМ, июнь 1944 года.
Генерал Омар Н. Бредли с недавно вскрытым нарывом на носу.



НОРМАНДИЯ, июнь 1944 года. Немецкий генерал сдается американским офицерам.

На обороте:
НОРМАНДИЯ, июнь—июль 1944 года. Американские солдаты.



Мы дошли до первой цели — шербурского военного госпиталя. Освободили из него около двухсот пятидесяти раненых узников из 82-й воздушно-десантной дивизии и вытащили из подвала неплохие запасы изумительных французских вин. Эрни пошел общаться с бывшими узниками, Чарли — брать интервью у немецкого врача, а я направился в подвал. Опоздал. У всех солдат 47-го полка руки и карманы были заняты ценными бутылками. Я попытался выпросить хотя бы одну, но мне ответили: «Только если ты — Эрни Пайл». Следующая попытка была более удачной. Я попросил бутылку для Эрни Пайла. Солдат с удовольствием поделился. Довольно быстро у меня оказалась неплохая добыча, состоящая из вина «Benedictine» и бренди. Ни Чарли, ни Эрни ничего против этого не имели.

Тем временем генерал Эдди тоже заполучил свою добычу. Ею оказался немецкий комендант Шербура генерал фон Шлибен. Это был наш первый военнопленный в столь высоком звании, и мне очень хотелось его сфотографировать. Однако он повернулся ко мне спиной и отказался позировать, сказав по-немецки своему помощнику, что его достала убежденность американских журналистов, будто им все можно. В ответ я сказал по-немецки, что меня достало снимать пленных немецких генералов. Он пришел в ярость и резко повернулся ко мне. Я сделал снимок, о котором можно было только мечтать.

Пробиваясь к Сен-Ло, наша 1-я армия прорвала немецкую оборону и в образовавшуюся брешь ринулись танковые и моторизованные части 3-й армии генерала Паттона. Я присоединился к самой быстроходной 4-й танковой дивизии, которая шла вдоль побережья в Бретань. По обеим сторонам дороги стояли радостные французы, выкрикивавшие: «Bonne Chance!» Не менее радостными выглядели и дорожные указатели с надписями «90 километров... 80 километров... до Парижа».



НОТР-ДАМ-ДЕ-САНИЙИ, К ЮГО-ЗАПАДУ ОТ СЕН-ЛО, 28 июля 1944 года.
Французский фермер предлагает сидр американским военным.



К ЮГО-ЗАПАДУ ОТ СЕН-ЛО, 26—30 июля 1944 года. Солдаты 2-й бронетанковой дивизии американских войск под обстрелом.

Городки, мимо которых мы ехали, сильно пострадали от наших налетов. Американские тактические бомбардировщики сравнивали их с землей, чтобы отрезать друг от друга отступающие немецкие части. В этих городках люди были отнюдь не такими радостными. Они сетовали, что если бы мы помогали французским партизанам с тем же усердием, с каким бомбили мирные города, то убили бы больше немцев и меньше французов и быстрее достигли бы своих целей.

Первым встретившимся нам населенным пунктом, нетронутым войной, был маленький прибрежный городок Бреаль. Немцы уже просто бежали от нас, и такая война была мне по душе. Здешние французы были абсолютно счастливы. Еда была прекрасна, а в кабаках первый бокал вина наливали бесплатно.

В этом маленьком городке было сильное и многочисленное Французское Сопротивление. К нам пришли мальчишки и девочки с винтовками на плечах и сказали, что они отныне в нашем распоряжении. Местом их сбора был отель «Petit», и там я на одну ночь организовал себе персональный штаб.

Le patron отеля и сам был участником Сопротивления. Он сказал, что именно для такого случая припас последнюю бутылку превосходного шампанского. Он пригласил двух юных, стройных партизанок, и мы с большим пиететом ее откупорили.

Внезапно явился с совершенно личной инспекцией молодой майор 1-й пехотной дивизии Пол Гаэл, у которого вообще-то не было никаких дел в этом секторе. Это был мой старый знакомый, и он присоединился к нашему застолью. Шампанское вскоре кончилось, но patron вспомнил, что у него спрятана еще одна последняя бутылка. В общем за этот вечер мы выпили немало последних бутылок. Гаэл принялся учить партизанок танцу джиттербаг, а они его — основам французского языка.

К полуночи patron стал засыпать, а девушки повесили на плечи свои винтовки и сказали, что им пора домой, не то злые отцы прибьют их. Майор Гаэл тоже удалился, забеспокоившись, что по нему соскучится генерал.



НОРМАНДИЯ, июнь—июль 1944 года.



АЛАНСОН, НОРМАНДИЯ, 12 августа 1944 года.
Местные жители приветствуют американских солдат.



БЛИЗ ШАРТРА, август 1944 года.



НОРМАНДИЯ, июнь—июль 1944 года. Американский капеллан причащает умирающего немецкого солдата.

Слева: НОРМАНДИЯ, июнь—июль 1944 года. Американский военный полицейский обыскивает пленного офицера СС.

Я отправился спать. Среди ночи дверь страшно затрещала, и в мою комнату ввалился толстый, верный водитель Гаэла. Рубашка на нем была разорвана и залита кровью. Он сильно запыхался и лишь возбужденно жестикулировал, не в состоянии ничего сказать. Немного успокоившись, он рассказал, что произошло. Майор, выйдя с вечеринки, был в слишком приподнятом настроении, чтобы сразу возвращаться в дивизию. Перед этим ему нужно было, по меньшей мере, освободить какой-нибудь французский город. Достойным претендентом выглядел Гранвиль, немаленький город, расположенный всего в двадцати милях. Они с водителем поехали туда совершенно одни и ввязались в бой с немцами. Однако тех оказалось несколько больше нужного. Гаэл сказал, что, пока темно, он будет сдерживать натиск врага, и отправил водителя за подкреплением. И вот он, приехав, умолял меня поторопиться, чтобы успеть застать его майора в живых.

Я помчался в 4-ю танковую дивизию. Там сказали, что Гаэла надо отдать под трибунал, если он еще не убит, а их дивизии дан приказ обойти Гранвиль стороной. Однако мне все же дали три бронированных автомобиля с разведчиками. До Гранвиля мы добрались к раннему утру. Город всюду праздновал освобождение. Над мэрией развевались триколор и звездно-полосатый флаг, а Поля носили на руках бойцы Французского Сопротивления. Шедший следом кортеж распевал Марсельезу, а всех девушек, отдавшихся немцам, согнали вместе и уже начали обривать.

Такой поворот событий немало поразил нас. Гаэл в двух словах все объяснил.

Ночью, когда он перестреливался с немцами, к нему присоединился карлик с огромными усами и старым ружьем. Он отвел его к бойцам Французского Сопротивления. Гаэл принял на себя командование, назначив человека с усами начальником штаба. Пол уверял, что карлик дрался как лев. В итоге они застрелили семнадцать немцев и еще сто пятьдесят взяли в плен.



ШАРТР, 18 августа 1944 года. После освобождения города союзническими войсками всех, кто сотрудничал с немцами, согнали во двор полицейской префектуры. Женщин обрили налысо; многих мужчин, вероятно, убили расстрельные команды.

На развороте: ШАРТР, 18 августа 1944 года. Толпа горожан, насмехаясь, проводит по улицам города обритую налысо мать ребенка, рожденного от немца. Мать этой женщины (едва виднеется из-за плеча мужчины, несущего узелок с одеждой) наказана аналогичным образом.



Праздничное веселье к полудню стало стихать. Пол галантно расцеловал усатого человека и попрощался со своими ночными однополчанами. Мы были уставшими и голодными и втроем с Полем и его водителем отправились на поиски хорошего ресторана. Все горожане советовали «Grand Hotel». Мы нашли это место, оно в самом деле выглядело многообещающе. Безупречно чистый зал, столы сервированы... За кассой, в окружении бутылок с аперитивами, сидела огромная женщина в строжайшем черном костюме. Она бросила на нас подозрительный взгляд, дождалась, пока мы усядемся, и позвала хозяина заведения. Он вышел в идеально белом фартуке и высоченном поварском колпаке. Он был карликом с огромными усами. Да, это был героический друг Пола, собственной персоной. Он принес меню, зыркнул на мадам и грубо спросил: «Ну, и кто же будет платить?»

Впрочем, веселью предавались далеко не все. Танки Паттона продвигались, не встречая особого сопротивления, а вот пехоте приходилось много сражаться, чтобы не позволить немцам перекрывать дорогу сразу за Паттоном.

Эрнест Хемингуэй прислал мне в Гранвиль письмо. Он писал, что с начала французской кампании идет вместе с 4-й пехотной дивизией, что фотографу там самое место и мне надо перестать валять дурака, плетясь позади танковых колонн. Он выслал за мной недавно отбитый у немцев шикарный мерседес, я нехотя в него забрался и поехал на новые поля сражений.

От сорока восьми швов на голове Папы не осталось почти ни следа. Свою неприличную бороду он сбрил. Меня Папа встретил весьма деловито. Он был принят в 4-ю дивизию в качестве почетного члена. Его уважали не только как писателя, но и как знатока военного дела, причем очень мужественного. У него в дивизионе даже была своя маленькая армия. Генерал Бартон выделил ему в качестве офицера пресс-службы лейтенанта Стивенсона, бывшего помощника Тедди Рузвельта. Кроме того, у него был свой повар, свой водитель, свой фо-

тограф (им был экс-чемпион по мотоспорту) и спецпаек шотландского виски.

Формально это были сотрудники пресс-службы, но под влиянием Папы они превратились в банду кровожадных индейцев. Хемингуэй как военный корреспондент не имел права носить оружие, но его опергруппа была вооружена до зубов стволами всех мыслимых видов как американского, так и немецкого производства. Его персональные войска имели даже свой транспорт. В число их трофеев входил не только мерседес, но и мотоцикл с коляской.

Папа сказал, что в нескольких милях от нас идет интересный бой, и нам надо там побывать. Мы положили в коляску мотоцикла немного виски, несколько автоматов, связку ручных гранат и двинулись в направлении боевых действий.

8-й полк 4-й дивизии должен был освободить один маленький городок, и Папа был в курсе всех подробностей. Атака уже началась, час назад, слева от этого поселка. Хемингуэй был уверен, что мы без проблем срежем путь, въехав в него справа.

Он показал по карте, как это просто сделать, но мне совершенно не нравилось его предложение. Папа посмотрел на меня с отвращением и сказал, что раз так, то я могу остаться. Пришлось ехать с ним, но я дал понять, что делаю это против воли. Я объяснил, что венгерская стратегия состоит в том, чтобы идти под прикрытием многочисленных солдат и никогда не срезать в одиночку путь по «ничьей земле».

Мы выехали на дорогу, ведущую к поселку. Папа, его рыжеволосый шофер и фотограф ехали на мотоцикле впереди, а лейтенант Стиви и я следовали за ними ярдах в пяти. Мы двигались крайне осторожно, часто сверяясь с картой. Наконец добрались до последнего крутого поворота, за которым уже был въезд в поселок. Стрельбы слышно не было, и мне стало совсем не по себе. Папа, шутя, щелкал и подначивал меня, и от этого желания ехать дальше становилось еще меньше. Он доехал до поворота, и тут что-то как щелкнет! Мощная бомба взорвалась в десяти ярдах от него. Папа взлетел на воздух и рухнул в канаву. Ры-

жий вместе с фотографом выпрыгнули из мотоцикла и побежали назад. Мы вчетвером были хорошо защищены изгибом дороги, чего нельзя было сказать о Папе. Канава оказалась неглубокой, и его спина торчала из нее по меньшей мере на дюйм. Прямо над его головой пролетали и ударялись в грязь трассирующие пули, безостановочно ухал легкий немецкий танк, стоявший на краю поселка. Два часа мы торчали на этом повороте, пока у немцев не появилась более важная мишень в виде запоздавшего 8-го полка.

Папа вскочил и побежал к нам. Он был в ярости. Не столько из-за немцев, сколько из-за того, что я в критический момент бездействовал, чтобы заполучить шанс первым сделать снимки бездыханного тела знаменитого писателя.

Весь вечер отношения между стратегом и венгерским военным экспертом оставались несколько натянутыми.

Однако надо было спешить в Париж. 3-я армия дошла до города Лаваль, что в шестидесяти километрах от столицы Франции, и мы поспешили догнать ее. Несколько перестрелок там и сям, несколько захваченных в плен изможденных немцев, еще один освобожденный городок, упомянутый в сообщениях с фронта, — и мы в Рамбуйе. Это последняя остановка перед Парижем, и здесь нам пришлось остановиться теперь уже по политическим причинам.

Парижане взялись за оружие и принялись сами биться с немцами на улицах города. Верховное командование союзнических войск решило, что в такой ситуации будет очень здорово, если армию освобождения, которая войдет в Париж, возглавит лучшее подразделение новой армии де Голля — Французская 2-я танковая дивизия, полностью оснащенная американцами.

Французская дивизия, собравшись в Рамбуйе, готовилась к последнему броску. Кого в ней только не было. Французские морпехи, прославившиеся благодаря битвам в Ливийской пустыне под командованием Монтгомери и по-прежнему ходившие в старых моряцких беретах с красными помпонами; испанские

республиканцы и черные сенегальцы, французы, сбежавшие из немецкого плена, — все они, как и положено опытным войкам, беззаботно улыбались.

Все пишущие машинки мира, казалось, были стянуты в Рамбуйе. Каждый аккредитованный военный корреспондент всеми правдами и неправдами стремился войти в Париж с первыми солдатами, чтобы сделать исторический репортаж из великого города угасших огней.

Хемингуэя привезли в Рамбуйе задолго до прибытия туда Свободной Франции и полчищ журналистов. Его персональная армия, состоявшая поначалу из четырех человек, пополнилась молодыми энтузиастами из Сопrotивления и разрослась до пятнадцати бойцов. Эти смешанные войска старались во всем подражать Папе. Они копировали его морскую походку вразвалочку, плевались через уголки губ короткими фразами на разных языках. Они таскали за собой больше ручных гранат и бренди, чем целая дивизия. Каждую ночь они выбирались из города, чтобы подразнить остатки немецких войск, стоявших между Рамбуйе и Парижем. В Папиной армии теперь уже не было места для венгерских экспертов, так что я присоединился к Чарли Вертенбейкеру, который собирался ехать в Париж на собственном джипе. 24-го августа французы, закатав рукава, двинулись на своих танках в путь. В ночь на 25-е мы разбили бивак возле указателя с надписью «ПОРТ Д'ОРЛЕАН — 6 КМ». Это был лучший дорожный знак, под которым мне когда-либо доводилось спать.

Наутро солнцу не терпелось пораньше взойти, да и мы так торопились, что даже не стали чистить зубы. На тротуаре уже рычали танки. Этим радостным утром даже наш шофер, рядовой Стрикленд, позабыв про свои вирджинские манеры, каждые пять минут тыкал моего величественного босса в ребра.

В двух милях от Парижа дорогу нашему джипу загородил танк Французской 2-й дивизии. Нам сказали, что дальше нас не пустят. Генерал Леклерк строго-настрого запретил впускать в город кого-либо, кроме бойцов французской дивизии. Старик сильно упал в моих глазах. Я вылез из джипа и стал спорить с

танкистами. В их французском проскальзывали испанские интонации. Тут я обратил внимание на имя танка, написанное краской на башне: «TERUEL».

Зимой 1937 года, снимая испанских республиканцев, я стал свидетелем одной из их величайших побед — Теруэльской битвы. Я сказал танкистам: «No hay derecho — будет несправедливо, если вы остановите меня. Я ведь vosotros — свой! Лично участвовал в этой яростной зимней баталии».

«Если это verdad, — ответили они, — и ты не врешь, то ты в самом деле posotros. Залезай, ты должен въехать в Париж на этом verdadero теруэльском танке!»

Я забрался в танк. Чарли и Стрикленд поехали сзади на джипе.

Дорога в Париж была свободна, и все парижане высыпали на улицы, чтобы потрогать первый танк, поцеловать первого солдата. Чтобы петь и плакать. Никогда еще в столь ранний час я не видел столько счастливых людей.

У меня было ощущение, что это освобождение Парижа было устроено специально для меня. Я ехал на танке, сделанном американцами, для которых я стал своим. Со мной были испанские республиканцы, с которыми я когда-то боролся против фашизма. Наконец, я возвращался в Париж — прекрасный город, где я научился есть, пить и любить.

Тысячи лиц в видоискателе расплывались все сильнее: он стал очень, очень мокрым. Мы ехали через тот квартал, где я прожил шесть лет, миновали мой дом возле Бельфорского льва. Моя консьержка махала платком, а я кричал ей из танка: «C'est moi, c'est moi!»

Первая остановка — напротив «Café de Dôme» на Монпарнасе. Мой любимый столик был свободен. Девушки в легких ситцевых платьях забрались на броню, и вскоре наши лица покрылись следами от их губной помады. Самому красивому из моих испанцев досталось больше поцелуев, чем остальным, но он бормотал: «Поцелуй самой уродливой старухи из Мадрида предпочел бы поцелуям первой красавицы Парижа».



ПАРИЖ, 25 августа 1944 года. После входа в Париж Французской 2-й танковой дивизии ей пришлось в уличных боях очищать город от многочисленных немецких снайперов. Французские мирные жители и бойцы Сопротивления помогли в этом военным.



ПАРИЖ, 25—26 августа 1944 года. Боец Французского Сопротивления в освобожденном городе. Обратите внимание на самодельные медали.

Слева: ПАРИЖ, 25 августа 1944 года.



ПАРИЖ, 26 августа 1944 года. Генерал Шарль де Голль возглавляет триумфальный парад на Елисейских полях в честь освобождения города.

Справа: ПАРИЖ, 26 августа 1944 года. Когда снайперы, спрятавшиеся в здании на площади Отель-де-Виль, открыли огонь, люди в панике упали на асфальт.

На развороте: ПАРИЖ, 26 августа 1944 года. Празднование освобождения города.







ПАРИЖ, 26 августа 1944 года .

Возле Палаты депутатов пришлось вступить в бой, и помаду отчасти смыло кровью. К вечеру Париж был освобожден.

Я хотел провести первую ночь в «Ritz» — лучшем из лучших отелей. Но там все уже было занято. Армия Хемингуэя вошла в Париж другой дорогой и в результате короткого и успешного боя освободила от фашистских мужланов главный объект — отель «Ritz». Вышибалой у входа стоял рыжий, радостно скаля выбитые передние зубы. Он сказал, очень убедительно имитируя Хемингуэя: «Папа взял хороший отель. В подвале много интересного. Быстро наверх!»

Он не соврал. Папа помирился со мной, устроил для меня вечеринку и вручил ключ от лучшего номера.

XI

Праздник освобождения Парижа был самым незабываемым днем в моей жизни. Через семь дней после самого незабываемого настал самый грустный. Продукты кончились, шампанское кончилось, девушки разбрелись по домам, им предстояло описать родителям все обстоятельства освобождения. Магазины закрылись, улицы были пусты, и мы вдруг осознали, что война вообще-то не кончилась. Она шла всего в двадцати пяти милях от нас.

В этот седьмой день я сидел в баре отеля «Scribe», любезно отданного военными в распоряжение журналистов, и пытался научить Гастона делать самый ядреный коктейль под названием «Грустный ублюдок». Пока он смешивал томатный сок, водку и вустерширский соус, я затыкнул свою погребальную песню, в которой оплакивал искусство военной фотографии, испустившее дух всего шесть дней назад. Никогда больше не будет таких пехотинцев, как в североафриканских пустынях или итальянских горах; никогда больше не будет такой высадки, как в Нормандии, такого освобождения, как в Париже.

Я сказал Гастону, что возвращаться на фронт нет смысла. Отныне я буду лишь повторяться. Любой снимок упавшего солдата, катящегося танка, безумно машущей руками толпы будет смотреться младшим братом картинок, снятых мной ранее.

Гастон разлил коктейль и запричитал о своем героическом прошлом.

Во время оккупации он воевал вместе с испанскими партизанами-антифашистами на юге Франции. Большинство из них были изгнанными республиканцами, в том числе их командир — генерал Альварез. Танков у них не было, даже пулеметов было мало, но воевать вместе с ними никогда не было скучно.

«Теперь, когда юг Франции освобожден, — сказал Гастон, — я поменял винтовку на шейкер для коктейля. Но испанцы не сложили оружие. Скоро они перейдут Пиренеи и выгонят Франко из Испании».

Я допил коктейль. Стало лучше.

Когда в январе 1939 года фашисты захватили Барселону, все сто миль дороги, ведущей из этого города к границе с Францией, были запружены людьми, бегущими от легионов Франко. Интеллигенция и рабочие, крестьяне и торговцы, матери, жены и дети — все они шли за машинами, в которых двигались жалкие остатки разбитой республиканской армии. Они тащили свои узелки и брели на опухших ногах в свободную демократическую Францию.

Газетчики написали об этих людях свои статьи, я их сфотографировал. Но миру это было не очень интересно, а через несколько лет появилось много других людей на других дорогах, которые бежали и падали, подгоняемые теми же солдатами с той же самой свастикой.

Французские жандармы приняли истощенных испанских беженцев с жестокостью и безразличием благополучных, сытых людей. Один за другим беженцы подходили к границе. С тыла их исход оберегали бойцы республиканской армии — несколько тысяч солдат, составлявших Мадридскую бригаду. Они бились с врагом с первого дня до последнего, но когда все мирные жители пересекли французскую границу, им ничего не оставалось

делать, как войти вместе с ними в эту страну. Их командир, генерал Модесто, восседал на белом коне у испанско-французской границы. Солдаты бригады шагали в мерцающем свете факелов. Их винтовки были начищены до блеска, головы гордо подняты вверх, в глазах блестели отсветы огня. Проходя мимо генерала, они, сжимая кулаки и вытягивая правые руки, кричали: «Ya volveremos... Мы вернемся!»

Удивленные французские жандармы автоматически приветствовали их в ответ. Но потом всю бригаду посадили в концлагеря.

В штабе войск Французского Сопротивления в Тулузе меня принял генерал Альварез. Он был юн, энергичен и полон желания пересечь ту границу в обратном направлении. Но ему надо было дожидаться соответствующего сигнала от союзнических войск. Он был уверен, что ждать осталось недолго. Союзники потеряли немало солдат на дорогах в Рим и Берлин. Дорога на Мадрид должна была стать следующей.

Он предложил посетить его войска. Всего у него было около двадцати тысяч солдат, собранных в маленьких приграничных деревушках на французской стороне Пиренеев.

Когда я приехал, у моих испанцев была большая вечеринка в старой таверне. Они распевали песни и пили густое красное вино из бутылок с двумя горлышками. За широкое горлышко бутылку держали, а тонкую струйку из узкого ловили приоткрытым ртом.

В центре комнаты смуглая цыганка из Андалузии пела фламенко. Остальные хлопали в ладоши в такт припеву и кричали «Holé!». После цыганки вышел грустный каталонец, затянувший меланхоличные хоты своей провинции. Каталонцы слушали его с умилением, а остальные кричали «Muу bien!» в конце каждой песни. Следующим был галисиец с широким крестьянским лицом и песнями про зеленые поля и высокие горы. Он спел много таких песен, и после каждой «последней» его просили спеть еще одну.

В комнате сидел худой человек, который не хлопал в ладоши и не кричал, и теперь пришла его очередь петь. На груди у него было много орденских лент, полученных за участие в крупных сражениях в Испании и Франции. Он спел песню, которую я раньше не слышал. Слова были на испанском, но красивая мелодия не была знакома никому.

Когда он закончил, воцарилась тишина. Потом кто-то спросил: «Расскажи мне, *hombre*, где поют такую песню?»

«В Аранской долине, — ответил он, — всего в двадцати милях отсюда, за горой. Это маленькая долина, всего три деревни. Вокруг — гигантские горы, которые отделяют их и от Испании, и от Франции. Там поют эту песню, и там все эти годы ждет меня моя Новиа».

Поднялся бородатый мужчина с капитанскими погонами. «Я командир погранпоста Кол д'Аран. Предлагаю пойти в эту долину».

Все тут же согласились. Солдаты, сидящие в таверне, вызвались перейти через горы и посетить то место, где поют такие красивые песни и где Новиа вот уже шесть лет ждет мужчину, а он всего в двадцати милях от нее.

Позвонили в Тулузу, чтобы попросить разрешение. Однако генерал Альварез отказал. Солдаты страшно расстроились. Да еще и бочка, из которой наливали вино в бутылки, опустела. В общем, вечеринка явно подходила к концу.

Потом из штаба позвонили. На этот раз генерал дал разрешение. «Границу могут пересечь сто пятьдесят человек. Им следует избегать кровопролития, а вернуться во Францию они должны не позднее, чем через сутки. Они должны выяснить, что испанцы думают о своих изгнанных братьях и знают ли они, что во Франции еще есть испанские антифашисты».

Что касается *Americano*, то мне было велено остаться. В штабе сказали, что я могу дойти только до погранпоста, в противном случае может случиться международный скандал.

Мы забрались на грузовики, сто с лишним человек, и осторожно поехали по извилистой дороге, петлявшей между горами



ТУЛУЗА, ноябрь 1944 года. Митинг Национального союза Испании — антифашистской организации, которая полагала, что в ответ на помощь в освобождении Франции союзнические войска должны помочь в освобождении Испании от режима генералиссимуса Франко. Союзники, впрочем, так не считали.

на высоте восьми тысяч футов. Погранпостом оказалась крошечная деревянная лачуга. Там мы спешили. Узкая тропа уходила в облака, лежавшие на вершине горы. По другую сторону была Испания.

Я остался с бородатым начальником поста. Остальные повесили на плечи винтовки, пошли друг за другом и скоро растворились в тумане.

В лачуге мы развели костер, сварили крепкого кофе и сели ждать. В 11 утра мадридское радио прервало программу для передачи важного сообщения: «Десять тысяч преступников испанской национальности проникли через границу из коммунистической Франции. Они вооружены американским оружием и одеты во французскую военную форму. Об инциденте извещены приграничные подразделения армии и Фаланги. Ожидается, что вскоре нарушители будут уничтожены».

Бородач сказал, что Франко, вероятно, вскармливали прокисшим молоком и что он родился с ложью на устах. Пограничники были того же мнения. Потом свое специальное заявление сделало французское радио: «Все испанцы, воевавшие вместе с бойцами Французского Сопротивления, будут удалены на расстояние не менее 20 миль от границы. Те, кто пересекли границу и ушли в Испанию, после возвращения будут разоружены и интернированы». Командир поста пробормотал что-то про молоко, которым вскармливали французов. Все мы разволновались.

Вскоре к посту подъехали французские военные грузовики с солдатами регулярной армии. Они приказали командиру и его пограничникам немедленно удалиться и отчитаться перед тулузским штабом. Я остался с французами. Пришел вечер, но никто из испанцев так и не вернулся. Сидя вокруг костра, начали спорить. Одни французы жаловались, что из-за этих чертовых иностранцев у них вечно возникают неприятности. Другие припомнили, что эти чертовы иностранцы чертовски здорово бились с немцами и освобождали родные деревни этих самых францу-

зов. Все, однако, сошлись на том, что испанцев следует интернировать, как и было приказано.

В полночь в лачугу вошел пограничник, форма его была в снегу. Французский капитан сказал, что снег — это уже слишком, но что испанцы сами напросились. У них, должно быть, промокли и замерзли ноги, когда они перебирались через высокую седловину перевала. Ночью так никто и не пришел, лишь большие хлопья снега кружились в воздухе.

К утру снега было уже по колено. Снегопад продолжался, и французы сказали, что в таких условиях перейти через перевал невозможно.

Однако в 10 утра из тумана вышла худая тень. Она медленно приближалась к хижине, оставляя глубокие ямы в снежной целине, которая еще недавно была дорогой. Человек шел один, на спине он нес шесть винтовок. Французский военный остановил его. Тот сложил оружие и сказал, что готов сдаться. Капитан оказался в очень затруднительном положении. Он тихонько выругался и сказал, что было бы неправильно арестовывать человека, который пронес шесть винтовок сквозь такую непогоду. Ему велели быстро исчезнуть и идти сушить ноги в деревню. Испанец сделал несколько шагов, потом обернувшись, посмотрел на вершину горы и произнес: «Сео que hay otros... Думаю, там могут быть еще люди». И медленно пошел прочь.

Следующий солдат нес на спине раненого товарища. Этих двоих тоже не решились арестовать. К полудню через пост прошло тридцать семь человек. Все они были слишком милыми и жалкими, чтобы их интернировать.

Постепенно мы узнавали детали происшедшего. Когда испанцы предыдущей ночью спустились с горы, их приветствовала вся деревня. Священник сказал, что знал об их антифашистской деятельности и молился за них. Накрыли невероятный стол. Все ели хлеб, пили вино и танцевали. Вдруг один из бойцов сообщил, что в деревню идет Фаланга из соседнего гарнизона. Испанцы решили организованно ретироваться, но когда они уже поднимались в гору, внезапно начался снегопад, сильно снизивший скорость их



ВОЗЛЕ ТУЛУЗЫ, ноябрь 1944 года. Испанский антифашист во французском изгнании. В октябре 1944 года он участвовал в неудачной операции по пешему пересечению Пиренеев с целью освобождения нескольких испанских деревень.

перемещения и сделавший их темные фигуры хорошими мишенями для винтовок Фаланги. Большинство солдат было убито, их замерзшие тела так и остались лежать в испанском снегу.

Вместе с последним солдатом на пост пришли два юноши. Это был тот самый худой солдат, который пел странную песню, но теперь его губы были плотно сжаты. Юноши, плетущиеся позади него, были в форме Фаланги. Худой солдат подошел к огню и велел мальчишкам снять ботинки и растереть ноги.

Я предложил ему свою фляжку, и он сиплым голосом рассказал мне, что эти парни — младшие братья Новии. Их заставили вступить в Фалангу. Новиа и ее братья отступали вместе с солдатами. Дойдя до середины склона, они должны были сделать свой выбор. Юноши хотели записаться во французскую армию, чтобы воевать с немцами. А Новии надо было возвращаться в деревню, чтобы ухаживать за матерью... и еще много лет ждать своего возлюбленного.

Долог обратный путь в Испанию. Уродливая мадридская старуха может стать слишком мертвой, чтобы целовать солдат, а солдаты, живущие мечтой о возвращении, — слишком старыми, чтобы их целовали юные девы.

Когда я вернулся в отель «Scribe», швейцар сообщил, что меня кто-то ждет в баре. И ждет уже три дня. За барной стойкой Гастон мешал коктейль для молодого американского майора. Это был Крис. Он получил повышение.

Даже издаലെка это выглядело как начало хорошего похмелья. Я подтащил стул и сел рядом с ним. Он посмотрел на меня сквозь доньшко своего бокала и, опустив его, сказал: «Всё, пора. Мы возвращаемся в Лондон».

Последние письма из Лондона в самом деле говорили о том, что Пинки восстала, но это никак не объясняло, с какой стати Крис тут набирается в столь ранний час. «Где же ультиматум?» — спросил я.

«В письмах Пинки, адресованных тебе. Она пишет, что все плохо. Теперь, когда твой Париж освобожден, тебе наплевать на все, что ты оставил в Англии».

Вот так взять и уехать в Англию я не мог, это было просто невозможно. Я объяснил, что мне надо получить британскую визу и взять у военных разрешение, без которого меня не посадят на самолет. На все это надо много дней. К тому же я должен вернуться на фронт. Пинки надо просто подождать.

Однако Крис настаивал на своем. «Все улажено, — сказал он. — Я взял на время самолет генерала. Что до паспортного контроля, то предоставь это мне. Все будет хорошо. Я даже договорился насчет самолета, который отвезет тебя обратно завтра утром».

«И все равно это меня не устраивает, — сказал я. — Пинки ведь съехала с арендованной квартиры, а если я проникну в Лондон нелегально, то не смогу вселиться в гостиницу».

Крис отмахнулся и от этого. «Пинки переехала в отель «Dorchester». И вообще она действительно в плохом состоянии, тебе надо ехать. Я не могу дальше задерживать самолет».

Генеральский самолет стоял на летном поле. Пилот помог нам подняться. Едва мы взлетели, как Крис уснул, а я начал волноваться. Война была уже почти окончена, и мне совсем не хотелось новых проблем с документами.

Когда мы приземлились в Нортхолте, в двадцати милях от Лондона, уже смеркалось. Крис к тому времени проснулся. Когда мы подошли к паспортному контролю, он пропустил меня вперед, а охранникам шепотом сказал, что у меня УПК. Когда мы сели в джип, Крис заверил меня, что это не заразно. Сокращение означало всего лишь «Устные Приказы Командующего».

Приехав в город, мы позвонили в «Dorchester». Пинки была на месте. Она уже ждала и попросила встретить ее в клубе «Astor» возле гостиницы.

На ней было то же черное платье и сандалии, что и восемнадцать месяцев назад, когда мы встретились у Ярдли. Только на сей раз она была худая и бледная. Она легонько поцеловала Криса в щеку, сказав, что он хороший мальчик.

Потом она обратилась ко мне.

«Вот ты и вернулся».

«Меня здесь сейчас не должно было быть».

«Почему ты не отвечал на мои письма?»

«Давай потанцуем».

Мы немного потанцевали, вернее, постояли посреди зала.

Крис наблюдал за нами со стороны.

«Будь ласков с Крисом, — сказала Пинки. — Он влюблен».

«Ты не можешь пройти даже мимо детей?»

«Не волнуйся, он любит тебя куда больше, чем меня».

Тут вмешался Крис, сказав что-то про детский бал. Он хорошо танцевал, и вдвоем они смотрелись очень элегантно. Вернувшись за столик, мы выпили бутылку шампанского. Пинки еще разок постояла со мной и дважды станцевала с Крисом. После полуночи Крис поднялся из-за стола и сказал, что мой самолет улетает в девять утра, а ровно в семь он будет ждать меня напротив «Dorchester».

Мы посидели еще немного, потом ушли. Когда мы дошли до входа в гостиницу, Пинки дала мне ключ от комнаты 403. «Зайди лучше один, — сказала она. — Я скоро приду. Иди прямо к лифту. Не задерживайся и не смотри на стойку администратора».

Я сделал все так, как она сказала. Но пока я ждал лифт, ко мне подошел какой-то большой мужчина. У него были маленькие глазки и вошьенные рыжие усы. Я старался вести себя естественно и уставился на его усы, чтобы не встретиться с ним взглядом. Не помогло.

«Прошу прощения. Вы зарегистрированы, сэр?» Уповать на то, что он сомневается, было бесполезно — в его тоне не было сомнения.

«Ну, не совсем, — ответил я. — Я иду в гости к мисс Паркер».

Он ответил, что в номере у мисс Паркер не на чем сидеть, поэтому ей не очень удобно принимать гостей. Кроме того, ее нет в номере. Кроме того, он сотрудник службы безопасности отеля. Я что-то промямлил в ответ и ретировался. Пинки как раз входила в гостиницу. «Трус», — обиженно сказала она.

Мы пересекли Парк-лейн и оказались в Гайд-парке. Наши ноги утопали в мокрых листьях. Пинки держала руки в карманах.

«Через несколько часов ты вернешься на свою войну».

«Я должен ехать».

«Должен добыть еще одну смешную историю для своей коллекции».

Я не смог на это ничего ответить, даже под покровом темноты.

«Я стала некрасивой. Если ты бросишь меня, я совсем зачахну».

«Ты очень красивая», — возразил я.

«Зачем мне жить, если я становлюсь уродливой».

Мы снова прошли мимо темной громадины «Dorchester». Из-под двери главного входа тонкой струйкой сочился слабый свет. «Война долго не продлится», — ответил я, запинаясь.

«Сколько бы она ни длилась, тебе все равно будет недолго».

Мы снова шли по мокрой траве. Чулки Пинки промокли, сандалии были в грязи. Мы прошли мимо Мраморной арки и остановились у стрелки, указывавшей на вход в бомбоубежище. Мы спустились в него. Стальные койки по-прежнему были заняты. По усталым, серым лицам жителей Ист-Энда, оставшихся в результате бомбежек без крыши над головой, было видно, что они не отдыхают даже во сне. Мужья и жены спали на разных койках, а дети лежали, тесно прижавшись друг к другу. Пришел смотритель и попросил предъявить пропуска в бомбоубежище. Пинки сказала, что просто хотела показать своему американскому другу непарадный Лондон. Мы вернулись в парк.

В тумане плакали голые деревья. Начинало светать. Мы уже много раз прошли мимо «Dorchester». Я попросил Пинки приехать ко мне в Париж. «Форму военного корреспондента можно взять у девушек-репортеров из “Life”, — сказал я. — А Крис организует все остальное». Я объяснил, что паспортный контроль в аэропорте Орли под Парижем не слишком строгий, и, если она прилетит в американской форме, никто не будет спрашивать у нее пропуск или паспорт.

Она помолчала. Потом предложила позавтракать.

В «Lyon's Corner House» она сняла сандалии и чулки и посушила их на батарее. А когда наклонилась, чтобы снова надеть их,

то, не поднимая головы, спросила: «Ты действительно хочешь, чтобы я приехала?»

Я действительно хотел.

«Что ж, это можно, — сказала она. — У тебя хватает духу выпрыгивать из самолета с парашютом на спине, но ты испугался жалкого охранника гостиницы. А еще ты до смерти боишься влюбиться. Я приеду в Париж».

Она припудрила лицо, налила чаю и принялась болтать. Это была уже другая Пинки. Она интересовалась, сможет ли она купить «Agrège», понадобится ли вечернее платье, надо ли для убедительности брать с собой печатную машинку и где она будет жить. Я на все отвечал утвердительно, а потом описал достоинства отеля «Lancaster».

Чай и хлебцы остыли, но завтрак получился веселый.

В 7 утра мы встретились с Крисом у дверей просыпающегося отеля «Dorchester». Лицо у него было помятое. Он сказал, что спал в машине. Пинки поцеловала меня на прощанье и исчезла во вращающихся дверях гостиницы. В машине я рассказал Крису, как мы провели ночь, и он пообещал, что вскоре привезет Пинки в Париж.

На паспортном контроле он снова проделал фокус с УПК, потом посадил меня в почтовый самолет. Прежде чем уйти, он сказал, что УПК на самом деле означает «Унылый Парень Капа». Потом добавил: «Надеюсь, в парижских отелях нет болванов-охранников?»

Я попросил его не сыпать соль на раны.

XIII

Гастон за пустой барной стойкой читал газету. Там писали, что грозный генерал Паттон перешел в новое наступление и, переправившись через реку Саар, вторгся в Германию. Гастон сказал, что это очень важно и что все настоящие журналисты уже там.

В парижской редакции «Life» меня ждала куча телеграмм. Все они были от моего нью-йоркского начальника. Он разделял чувства Гастона и просил как можно быстрее догнать армию Паттона. Я собрал рюкзак и вернулся на Большую Войну. Поскольку теперь бои шли на немецкой территории, я рассчитывал, что у меня снова будут получаться выразительные фотографии, хоть чуть-чуть отличающиеся от снимков, сделанных в ходе предыдущих кампаний.

Я догнал 80-ю дивизию у реки Саар. Два батальона были уже на той стороне, в Германии, и немцы сосредоточивали свою тяжелую артиллерию на маленьком береговом плацдарме. Обстреливали преимущественно понтонные мосты, без которых батальоны невозможно было снабжать продуктами и амуницией.

В долине Саар я обнаружил новое секретное оружие — искусственный туман из бочек. Он заполнял воздух настолько плотно, что дальше двух ярдов от собственного носа невозможно было что-либо различить. Напускал туман батальон негров, работав-

ших под сплошным огнем. В этой дымовой завесе и черные, и белые солдаты выглядели одинаковыми серыми силуэтами. Я остановился поболтать с одним из негров. Он рассказал, что рвущиеся вокруг снаряды разговаривают с ним, каждый из них хочет что-то ему поведать. В этот момент вблизи от нас упал снаряд. Он усмехнулся. «Этот хотел сказать: “Ты не вернешься в Алабаму”».

Дым от снарядов делал туман совершенно непроглядным, но американские солдаты совершенно спокойно шли по своим делам. Мой джип медленно ехал по мосту, битком набитому людьми. Мне казалось, что я один тут чего-то боюсь, но я рад был снова оказаться на фронте.

На той стороне Саара я нашел штаб батальона. Он расположился в подвале небольшого здания и на следующие несколько дней стал моим домом. Искусственный туман не позволял снимать. Это новое оружие защищало не только от противника, но и от фотографа. Я нашел книгу «Война и мир» и пять суток напролет лежал на своем спальнике, читая Толстого при свете фонаря.

Местечко было гадкое, а для фотографов — еще и бесперспективное. Но у меня был теплый спальник и прекрасная книга. И звуковые эффекты — как на заказ.

Наш подвал жил своей жизнью, отдельно от всего мира. Война для нас ограничивалась уличными боями вокруг дома, в котором мы сидели. Мы почти не обращали внимания на ежедневные вести с фронтов, пока не получили специальное сообщение о том, что фон Рундштедт со своими войсками прорвал линию фронта и движется в сторону Льежа. Сначала мы не поверили, но потом эту информацию подтвердили радиограммой. Пришлось оставить в подвале недочитанную «Войну и мир» и переправиться через Саар обратно.

На разворотах: К ЮГУ ОТ БАСТОНИ, БЕЛЬГИЯ, 23—26 декабря 1944 года. Американские пехотинцы, идущие по замерзшему полю во время Битвы за Вуступ, и немецкий танк, подбитый американскими истребителями.





В штабе 12-й группы армий в Вердене был большой переполох. Немцы продвигались вперед, а в нашем резерве было всего три дивизии, которые должны были сдерживать натиск противника, пока мы перегруппировываем армии. Все три дивизии принадлежали к воздушно-десантным войскам. Одна уже попала в окружение и оказалась отрезанной от остальных, хотя все еще продолжала драться с врагом в маленьком городе под названием Бастонь. Это была 101-я воздушно-десантная дивизия. Осада Бастони стала одним из величайших сражений этой войны.

Армейская разведка была несколько обескуражена немецким наступлением. Судя по их отчетам, германские войска были либо истреблены, либо оборонялись на восточном фронте. Теперь же разведка и вовсе отказалась делиться информацией. Всё засекретили. Тем не менее полковник Реддинг, шеф пресс-службы, дал мне один совет. Он сказал, что если я хочу попасть в Бастонь, то мне надо найти 4-ю танковую дивизию. Он выдал мне джип, и я с выключенными фарами поехал в сторону этого городка.

Каждые несколько миль нас останавливали бойцы спецподразделений военной полиции. Они тщательно изучали наши документы и спрашивали постоянно меняющиеся пароли. Услышав пароль, начинали задавать дурацкие вопросы. Они выясняли, например, где находится столица штата Небраска или кто выиграл последний чемпионат США по бейсболу. Дело в том, что неподалеку десантировались немецкие шпионы и диверсанты, которые носили американскую форму и идеально говорили по-английски. Между тем я говорил на этом языке совсем не идеально, и мой акцент вызывал подозрения. Хуже того, я не знал, где находится столица штата Небраска. Меня неоднократно арестовывали, что всякий раз приводило к многочасовым задержкам.

Наконец мы добрались до штаба 4-й танковой дивизии, которая стояла всего в двадцати милях от Бастони. Их танки выдвинулись в сторону города на помощь нашим изрядно побитым десантникам, у которых почти не осталось боеприпасов.



К ЮГУ ОТ БАСТОНИ, БЕЛЬГИЯ, 23—26 декабря 1944 года.
Американский солдат берет в плен немца.



К ЮГУ ОТ БАСТОНИ, БЕЛЬГИЯ, 23—26 декабря 1944 года.
Фермер хоронит свою лошадь.

Я, как обычно, зарегистрировался в разведслужбе. Но стоило мне сказать полковнику, что я фотограф, как меня тут же арестовали. Поставили в угол и приказали стоять лицом к стене, чтобы не видеть карту военных действий. Мне разрешили повернуться только после того, как позвонили полковнику Реддингу. Офицер разведки не удосужился даже извиниться — нечего в такой неподходящий момент оказываться враждебным иностранцем.

До Рождества оставалось два дня. Поля стояли, покрытые снегом, а температура была сильно ниже нуля. С замерзшими руками и ногами, со слезящимися глазами, днем и ночью пробивались мы к Бастони, чтобы освободить этот городок и угостить парней из 101-й дивизии праздничной индейкой. Я был единственным фотографом среди многочисленных журналистов, участвовавших в операции. Я надел все, что у меня было, а поверх всего — длинную куртку с меховым капюшоном — ее мне дали год назад на итальянском фронте горные командос.

На шее висели ледяные камеры, и дольше доли секунды держать палец, даже в перчатке, на кнопке спуска было невозможно. Я остановил джип в пяти милях от Бастони. Вдоль дороги по заснеженному полю шел пехотный батальон. Дым от взрывов висел над черными фигурами, то ложившимися на белый ковер, то поднимавшимися с него. Это был первый необычный кадр за долгое время. Я забрался на насыпь, взял «Contax» с самым длиннофокусным объективом и начал снимать. Вдруг один из американских пехотинцев, стоявший в 150 ярдах от меня, что-то крикнул и поднял свой «томми-ган». «Эй, полегче!» — крикнул я в ответ, но он, услышав мой акцент, открыл огонь. Я на мгновение растерялся. Бросишься на землю — пристрелят. Побежишь — догонят. Я поднял руки вверх, закричал «Kamerad!» и сдался. Трое солдат пошли ко мне с винтовками наготове. Подойдя достаточно близко и разглядев три немецкие камеры, висевшие у меня на шее, они страшно обрадовались. Два фотоаппарата

«Contax» и один «Rolleiflex» — да они сорвали джекпот! Я все еще держал руки над головой. Но когда они приблизились на расстояние вытянутой винтовки, я попросил одного из них залезть в мой нагрудный карман. Он вынул мое удостоверение и специальный пропуск фотокорреспондента, подписанный лично Эйзенхауэром. «Надо было сразу пристрелить ублюдка», — заворчал он. Знаменитый Сэд Сэк показался бы удалым весельчаком по сравнению с этой троицей. Я опустил руки, сфотографировал их и пообещал, что снимок будет напечатан в журнале «Life».

Я вернулся к танкам. Мне гораздо спокойнее было ехать с водителем, говорившим по-техасски, нараспев.

Канун Рождества, в небе полно звезд. Мы остановились на ночлег и спешили, разбившись на маленькие группы — каждая сгрудилась возле своего замерзшего танка. Я пустил по кругу свою серебряную фляжку, и холодный бренди согрел наши желудки. Сбившись в кучу, солдаты, которые весь день убивали немцев и стреляли в любого, кто говорит с акцентом, затаили «Stille Nacht, Heilige Nacht». Вдруг в небе над Бастонью, как Вифлеемская звезда, зажглась яркая точка. Это был немецкий самолет. Люфтваффе раздавало подарки 101-й дивизии. Мы грязно выругались и забрались в танки.

Рождественскую звезду увидели на трех дорогах, ведущих в Бастонь, три мудрых полковника, командующих тремя боевыми подразделениями и везущих в город подарки в виде консервов и снарядов. Все они двинулись в путь.

Моими танкистами командовал подполковник Абрамс. Своим видом он напоминал еврейского царя с сигарой. Он клялся, что в город мы войдем первыми.

Днем, после изнурительных боев мы взяли высоту. Бастонь лежала перед нами, от нее нас отделяли три тысячи ярдов и две тысячи немцев. Абрамс выстроил танки в шеренгу и приказал наступать. Он сказал солдатам, чтобы они ехали и стреляли, не останавливаясь даже для наводки, пока не доедут до города.

Маколифф, командующий 101-й дивизией, тот самый генерал, который в ответ на предложение немцев сдаться сказал: «Идите к черту!», оказался очень вежливым. «Рад видеть Вас, полковник», — приветствовал он Абрамса. И он не лукавил.

На черных, обуглившись стенах заброшенного амбара белым мелом солдаты Маколиффа написали: «ЗДЕСЬ ЗАСТРЯЛ КИЛРОЙ».

XIV

Весна 1945 года

На заснеженных парижских полях американские солдаты кидались снежками в молодых француженок. Последнее немецкое наступление было отбито; последняя военная зима ожидала наступления последней весны.

Я ждал Пинки.

Элмер Лоуэр, хитрый начальник парижской редакции «Life», позвал меня к себе. У него было две адресованных мне телеграммы. Первая — из нью-йоркской редакции. В ней сообщалось, что я снял великолепную фотоисторию про Бастонь, и в награду могу выбрать любую из четырех американских армий и отправиться с ней на Берлин. Вторая была из лондонского офиса, от главного бухгалтера. В ней говорилось, что он уже давно отказался проводить по статье «расходы» мои карточные проигрыши, и теперь уж точно не станет оплачивать женскую форму военного корреспондента, счет за которую выставил мой портной.

У самого Элмера тоже были для меня интересные новости. Помимо четырех американских армий, уже находившихся на линии фронта, к наступлению на Берлин готовилась еще одна — 1-я союзническая воздушно-десантная армия. Ходили слухи, что война окончится с высадкой парашютистов прямо в Берлине. Армия возьмет с собой только трех военных корреспондентов:

газетчика, радиокомментатора и фоторепортера. Пул военных фотографов ничего не имел против моей кандидатуры. Элмер сказал, что не может заставлять меня прыгать, но если эта идея мне нравится, то я могу остаться в Париже до начала десантирования.

Шестьдесят дней с Пинки и один день с парашютом — это была неплохая сделка. По крайней мере, до пятидесяти девятого дня включительно она меня устраивала. Я согласился выполнить это задание и послал в Лондон телеграмму с просьбой вычесть расходы на непредусмотрительного портного из моей зарплаты.

Следующая телеграмма из Лондона оказалась личным сообщением для меня: ДЛЯ КАПЫ ОТ ПИНКИ ОТЕЛЬ LANCASTER 15 ФЕВРАЛЯ. На тот момент я жил в «Scribe», гостинице для военных корреспондентов, но забронировал с 15 февраля два лучших номера в «Lancaster».

Мой день «D» пришел. Я подготовил на береговом плацдарме цветы и шампанское. Я ждал весь день. К ночи я понял, что нюхать цветы и пить шампанское мне придется в одиночестве. Этот смешной аттракцион мужественного ожидания повторялся с неизменным результатом изо дня в день. Двадцатого числа в редакцию пришла еще одна телеграмма длякапы-отпинки: ОТКАЖИСЬ LANCASTER ЛОНДОН НЕ ПРИЕЗЖАЙ НИ КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЪЯСНЮ ПОЗЖЕ. Я оплатил счет за цветы и шампанское и снова переехал в «Scribe».

Гастон отметил, что я не выгляжу счастливым. Он теперь наливал только отвратительный бренди, но оставался прекрасным и честным барменом. Я произнес речь о женщинах вообще и в частности. Гастон ответил просто: «Месье надо заняться спортом».

Образ одинокого мужчины, курящего трубку высоко в горах, пришелся мне по душе. Кроме того, я знал одну очень симпатичную француженку, которая буквально несколько дней назад уехала в альпийский городок Межев.

Я попрощался с Элмером Лоуэром. Признал, что сделка оказалась невыгодной, и сказал, чтобы он выслал мне телеграмму

в Межев, когда я понадобится. Следующий месяц я провел в борьбе со снегом, изучая французскую методику катания на лыжах. Я прекрасно спал в обнимку с бутылкой горячей воды.

Когда пришла телеграмма от Элмера, уже наступила весна. Теперь лыжникам надо было прыгать. Я к тому времени был уже достаточно загорелым и здоровым, чтобы струхнуть, но все-таки вернулся в Париж. От Пинки письма не было, и Гастон мне по этому поводу сказал: «Месье надо вернуться на войну». Он был прекрасно информированным барменом.

Началом конца великого воздушного десанта в Германии стала отправка во французских товарных вагонах времен Первой мировой со знаменитыми надписями «40 hommes et 8 chevaux». Американская 17-я воздушно-десантная дивизия погрузилась в длинные эшелоны, и двое суток нас катали туда-сюда по всей Франции. Это должно было сбить с толку вражеских шпионов. Спустя сорок восемь часов этих хитрых маневров генералы решили, что и солдаты, и немецкие шпионы достаточно устали, и мы прибыли в закрытый лагерь возле аэродрома, в шестидесяти милях от той точки, откуда мы выехали.

В лагере у нас было совсем немного времени на прочистку винтовок и мозгов перед десантированием. Накануне прыжка нас проинструктировали, сказав, что мы будем высаживаться вместе с английской воздушно-десантной дивизией по ту сторону Рейна, в самом сердце основной немецкой линии обороны.

Перед битвами древние гунны и греки приносили в жертву белых лошадей и прочих ценных животных. В тот день американские десантники принесли в жертву большую часть своих волос, сбрив их и оставив лишь индейские ирокезы. Они говорили, что предпочитают следующим вечером быть живыми и лысыми, чем мертвыми, но с шикарными шевелюрами. Я бриться не стал, но отчаянно хотел выпить. Прыжок с парашютом — лучшее лекарство от похмелья, и было бы обидно упустить шанс этим воспользоваться. Но вина не было. 17-я дивизия была лысой и непьющей.

Вечером прямо в центре аэродрома, покружив над ним, сел маленький самолет. Это прилетел майор Крис Скотт. 9-е транспортное соединение вновь везло нас на задание, а Крис вновь отвечал за новости. Он только что прилетел из Лондона и вручил мне посылку и письмо от Пинки. В посылке была бутылка шотландского виски. Крис рассказал мне, что произошло.

15-го февраля, начал он, 9-е транспортное соединение устроило большой бал в своем штабе в Англии, неподалеку от Лестера. Крис пригласил туда Пинки с вещами. После танцев он планировал спрятать ее и ранним утром посадить на самолет до Парижа.

На танцах она пользовалась большим успехом, весь вечер была в центре внимания. Как только бал закончился, Пинки переделалась в форму военного корреспондента и вышла с Крисом на летное поле. К сожалению, один из парней, танцевавших с ней, увидел, как она идет в американской форме по аэродрому, и позвонил в полицию.

Пинки арестовали до того, как она попала на борт самолета. Она не хотела впутывать в это Криса и меня, поэтому придумала какую-то нелепую историю, которой никто не поверил. Решили, что она шпион, и много дней слепили ее яркой лампой, а она продолжала рассказывать ту же неубедительную легенду.

Наконец ее отпустили, но организовали слежку. Тогда-то она и позвонила в «Life» с просьбой отправить мне телеграмму о том, чтобы я не приезжал в Лондон. Она не могла ничего написать в письмах, которые читала цензура, а Крис дважды приезжал в Париж, чтобы лично рассказать мне все это. Но я катался на лыжах.

Теперь, заключил Крис, Пинки сидит дома с родителями. Она посылает мне эту бутылку в знак любви.

Было видно, что Крису очень тяжело рассказывать мне эту грустную историю. Я спросил, сильно ли он любит Пинки. «Да, — ответил он. — Я все хотел поговорить с тобой об этом, но Пинки взяла с меня слово, что я не стану этого делать».

Я сказал, чтобы он не стеснялся и продолжал. «Нет, — возразил он. — Завтра ты будешь прыгать с парашютом, а я полечу

над вашими самолетами на “Летающей крепости” с несколькими фотографами, которые будут снимать прыжок. Мы встретимся завтра вечером. Буду ждать тебя на первом аэродроме по эту сторону Рейна. Мне так будет проще все обсудить».

На этом мы и сошлись. Выпили полбутылки виски, а остальное я перелил в свою боевую фляжку.

От Северной Африки до Рейна было немало дней «D», и всякий раз надо было просыпаться среди ночи. С отступлением темноты наступала смерть. Но эта высадка отличалась от остальных. В семь утра мы съели двойную порцию предбоевой яичницы и вскоре после этого взлетели.

Я летел во флагманском самолете с командиром полка и прыгать должен был вторым номером, сразу после него. Перед посадкой майор 2-го отдела отвел меня в сторону. Он предупредил, что если что-нибудь случится со Стариком, когда надо будет прыгать, я должен буду пинком выкинуть его из самолета. Это было очень важное и утешительное знание.

Мы летели на небольшой высоте над Францией. Через открытую дверь самолета солдаты смотрели на проносящиеся мимо пейзажи теперь уже мирной страны. Никого не тошнило. Эта высадка впрямь отличалась от всех остальных.

С аэродромов Англии и Франции одновременно взлетели тысячи самолетов и планеров. Свидание было назначено в Бельгии. Оттуда мы полетели все вместе плотным строем. Наши тени плыли по дорогам и улицам освобожденных стран, мы видели лица людей, махавших нам снизу. Даже собаки были в восторге и бежали за теньями. По обе стороны от нас летели самолеты с привязанными планерами, и выглядело это так, словно кто-то натянул струны от Ла-Манша до Рейна, а потом подвесил на них на расстоянии сотни ярдов друг от друга много игрушечных самолетиков.

АРРАС, ФРАНЦИЯ, 23 марта 1945 года. Американский парашютист перед посадкой на самолет для десантирования над Рейном. Стрижка под индейца поддерживает командный дух и приносит удачу.



Больше не хотелось никуда смотреть и ни о чем думать. Я сделал вид, что читаю детектив. К 10:15 я дошел только до тридцать седьмой страницы, тут загорелась красная лампа — пора готовиться к прыжку. В голове промелькнула глупая мысль сказать сейчас: «Извините, я не могу прыгать. Мне надо дочитать детектив».

Я встал, убедился, что камеры крепко привязаны к ногам, а фляжка лежит в нагрудном кармане у сердца. До прыжка оставалось еще пятнадцать минут. Я стал думать о своей жизни. Это напоминало фильм, который крутит обезумевший кинопроектор. За двенадцать минут я успел увидеть и почувствовать все, что когда-либо ел и делал. Я был совершенно опустошен, а впереди оставалось еще три минуты. Я стоял у открытой двери позади полковника. В шестистах футах под нами тек Рейн. Потом, как мелкие камушки, по фюзеляжу начали стучать пули. Зажглась зеленая лампа. Мне не пришлось выталкивать полковника. Парни закричали: «Ура!» Я сосчитал: «Пятьсот один... Пятьсот два... Пятьсот три...» — и надо мной прекрасным цветком распустился мой парашют. Сорок секунд до земли показались мне часами. У меня была куча времени. Я успел отвязать камеру, сделать несколько снимков и подумать шесть или даже семь разных мыслей, прежде чем коснулся земли. Внизу я продолжал щелкать затвором. Мы все лежали, распластавшись, и подниматься никто не собирался. Первая волна страха прошла, и не хотелось, чтобы нахлынула вторая.

В десяти ярдах стояли высокие деревья, и несколько парней, которые прыгали после меня, приземлились на их кроны и беспомощно повисли в пятидесяти футах от спасительной земли.

Немецкий пулемет начал стрелять по болтающимся в ветвях солдатам. Я громко и витиевато выругался по-венгерски и вжался лбом в траву. Мальчишка, лежавший рядом, посмотрел на меня и сказал: «Ну-ка прекращай эти еврейские молитвы. Они тебе уже не помогут».

Я перекатился на спину. В воздухе над нами летел только один самолет, серебристая «Летающая крепость», в которой был Крис. Он повернул, весело помахал крыльями и вдруг загорелся.

Дымясь, он стал терять высоту. «Ах этот Крис, — подумал я. — Он сейчас перехитрит меня и станет героем». За мгновение до того, как самолет исчез из виду, от него отделились 7 черных точек, которые превратились в семь блестящих цветков. Они выпрыгнули; парашюты раскрылись.

К 11:00 я отснял две пленки и закурил сигарету. В 11:30 сделал первый глоток из фляжки. Мы хорошо укрепились на дальней стороне Рейна. Наш полк вынул орудия из обломков планеров, и мы вышли на дорогу, которую должны были занять и удерживать под контролем. Потери были велики, но не настолько, как в Салерно, Анцио или Нормандии. Те немцы нас бы тут перебили, но к этому моменту они сами уже были перебиты. Днем мы соединились с другим полком. Я убрал камеры — снимков уже было достаточно — и принялся искать Криса.

Вечером я стал пробираться к Рейну, но мы все еще были отрезаны от частей, пересекавших реку на баржах. Я нашел прекрасный большой шелковый парашют, завернулся в него и уснул. Там было тепло, и сон мой все время крутился вокруг телеграммы, на которой было написано: «Вернись лыжный курорт, вернись лыжный курорт». В подписи значились то Пинки, то журнал «Life».

Утром я дошел до Рейна. Через реку были перекинуты два понтонных моста, по которым двигались тысячи солдат и пушек. Все спрашивали, как прошло десантирование, я в ответ нагло врал, но никто не обижался.

Я нашел аэродром и спросил, известно ли что-нибудь о майоре Скотте. «Его принесли со сломанной лодыжкой, — ответил офицер авиации, — и полтора часа назад эвакуировали в Лондон».

На развороте: ВОЗЛЕ ВЕЗЕЛЯ, ГЕРМАНИЯ, 24 марта 1945 года. Американские парашютисты десантировались. Некоторые повисли на деревьях, став легкой мишенью для врага.





Слева: ВОЗЛЕ ВЕЗЕЛЯ, ГЕРМАНИЯ, 24 марта 1945 года.



ВОЗЛЕ ВЕЗЕЛЯ, ГЕРМАНИЯ, 24 марта 1945 года. Семья немецких фермеров прячется в неглубоком окопе.

*На развороте:
ВОЗЛЕ ВЕЗЕЛЯ, ГЕРМАНИЯ, 24 марта 1945 года. Немецкие фермеры
убегают из своего горящего дома в самый разгар боя.*



По дороге от Рейна до Одера война со стрельбой стремительно превращалась в войну с воровством. Американцы пробивали себе дорогу, встречая все меньше и меньше сопротивления и все больше камер, пистолетов Люггера и фройляйн. Продвинувшись вглубь страны, они обнаружили, что немцы — очень милый народ. Дома и фермы, попадавшиеся им на пути, больше напоминали о родине, чем дома и фермы, которые они видели во время всех предыдущих кампаний.

Война еще не закончилась, но тесные дружеские отношения уже повсюду устанавливались. И только тем, кого освободили из концлагерей в Бухенвальде, Бельзене и Дахау, было не до фройляйн. Война явно выдыхалась, беспорядочно сходя на нет. Солдаты мысленно уже паковали рюкзаки и собирались домой, достреливая последние патроны.

От Рейна до Одера я не сделал ни одной фотографии. В концлагерях фотографов и так были толпы, и каждая новая ужасающая карточка лишь ослабляла общее впечатление. Сегодня все увидят, до чего довели в этих лагерях несчастных заключенных, а уже завтра мало кого будет интересовать их дальнейшая судьба.

Немцы, печальные и неожиданно приветливые, не интересовались моей камерой. Я хотел встретить первого русского и на этом покончить с войной.

Русские дрались в Берлине. Некоторые их части добрались до Одера одновременно с тем, как американцы подошли к воротам руин, называвшихся недавно Лейпцигом. Здесь состоялась еще одна трудная битва. Защищали Лейпциг элитные подразделения гитлеровских пехотинцев-штурмовиков. Но они, как и все остальные, кричали «Kamerad», убив достаточное количество американцев и потеряв достаточное количество своих.

Я шел с батальоном 5-й пехотной дивизии. Мы добрались до моста, ведущего в центр города. Первые отряды уже шли по нему, и мы опасались, что немцы с минуты на минуту его взорвут. На углу рядом с мостом стоял роскошный четырехэтажный жилой дом. Я забрался на последний этаж, чтобы проверить, станет ли





последняя фотография пригнувшихся к земле и рвущихся вперед пехотинцев последней моей фотографией с этой войны. Квартира оказалась открыта. Пятеро американских солдат устанавливали пулемет, с помощью которого они собирались прикрывать войска, переходящие через мост. Через окно стрелять было трудно, поэтому сержант и один из солдат вытащили орудие на открытый, ничем не защищенный балкон. Я наблюдал за ними, стоя у двери. Поставив пулемет, сержант вернулся. Молодой капрал нажал на гашетку и начал стрелять.

Последний солдат, стреляющий из последнего пулемета, мало отличался от первого и любого другого. К тому времени, когда фотография доберется до Нью-Йорка, никто не захочет публиковать снимок обычного солдата, стреляющего из обычного пулемета. Но у этого парня было чистое, открытое, молодое лицо, а его орудие продолжало убивать фашистов. Я вышел на балкон и, стоя в двух ярдах от капрала, навел камеру на его лицо. Щелкнул затвор — моя первая фотография за несколько недель. И последняя фотография, на которой этот мальчик еще жив.

Напряженное тело пулеметчика обмякло, и он упал в дверной проем. Лицо его не изменилось, если не считать маленького отверстия, появившегося между глаз. Рядом с головой появилась лужа крови, его сердце больше не билось.

Сержант пощупал его запястье, переступил через тело и схватился за пулемет. Но стрелять не пришлось — наши уже перешли через мост.

У меня была фотография последнего убитого. В последний день погибли лучшие. Но живые о них быстро забудут.

Мы остановились в Лейпциге. Делать больше ничего не надо было, зато много чего надо было не делать. Армия остановилась и ждала дальнейших указаний, а журналистов предупредили, чтобы они даже не пытались проникнуть в Берлин или встретиться с русской армией, стоявшей всего в пятнадцати милях. Теперь за дело взялись бюрократы. Войскам пообещали, что ор-

ганизуют церемонию встречи с русскими войсками — в основном это делалось для генералов и журналистов.

Мы отправили последние репортажи и слонялись по пресс-штабу американской 1-й армии. Большинство военных корреспондентов собралось именно здесь — и те, кто прошел всю войну, начиная с Северной Африки, и новички. Последние с большим энтузиазмом писали какие-то фантастические истории. Ветераны, наоборот, притихли. Боролись с похмельем войны и допивали остатки вина.

В первый вечер мы отправились спать довольно рано. В полночь нас разбудил Хэл Бойл, самый неутомимый из ветеранов. «Эрни отвоевал», — сказал он. Он был убит в этот день очень далеко от нас, на острове Иешима в Японии. Мы встали и молча выпили, оглушенные этой новостью.

Из Лондона и Парижа посмотреть на историческую встречу с русскими войсками приехало огромное количество военных корреспондентов. Один из них, работавший на «Columbia Broadcasting», спросил, знаю ли я Криса Скотта. Я сказал, что он мой друг и спросил, как он поживает. Мне ответили, что он в Лондоне, все еще прихрамывает и собирается жениться на английской девушке.

Мне стала безразлична встреча с русскими. Этот парень из «Columbia Broadcasting» дал мне ключи от своей квартиры, я сел на немецкий форд и поехал прямо в Париж. Там я запросил визу и пропуск и отправил Пинки телеграмму о том, что еду.

XV

Я расплатился с таксистом возле дома Пинки. Открыв дверь машины, я увидел ее: она ждала меня на улице.

«Тебе нужно было приехать, чтобы снова все испортить?» — спросила Пинки. Она была в очках, прекрасно выглядела и говорила незнакомым голосом. «Я забронировала для тебя номер в “Dorchester”». Я остановил еще одно такси и дал шоферу адрес квартиры журналиста «Columbia Broadcasting» на Портленд-сквер.

Когда мы поднялись наверх, она села в большое кресло, а я остановился у камина. Мы молчали. Наконец она сняла очки и заговорила своим обычным голосом.

«Что ж, вот и свиделись. Ты выглядишь точно так же, как раньше».

«А я и остался таким же. Я не изменился».

«Зато я изменилась. Все эти два года ты занимался своими делами, а я только и делала, что ждала. Теперь я влюблена. И меня любят».

Я сказал, что не верю ей. Это всё нервы, глупости, связанные с войнами и паспортами, злобный рок, постоянно преследовавший нас. «А сами мы — как в день нашего знакомства два года назад... И у нас еще всё впереди».

«Почему ты раньше не говорил так?»

Я не знал, что ответить. «Он слишком юн для тебя», — сказал я наконец.

«Я живу сейчас, словно в прекрасном сне. Зачем тебе разрушать мое счастье?»

Я опять ничего не ответил.

«Между прочим, — добавила Пинки, — Крис посерьезней некоторых».

Мы затопили камин, я пошел искать, где парни из «Columbia Broadcasting» прячут вино, и вернулся с двумя бутылками. Сев у огня, мы выпили и постепенно разговорились. Мы не ели и не спали — только сидели и говорили. Я спорил и оправдывался, проклинал и умолял, я чуть не побил ее. Она рыдала и тоже спорила, и настаивала на своем.

За окнами день сменялся ночью, а ночь — днем. На второе утро мы обнаружили, что сидим на полу у тлеющего камина среди пустых бутылок. Пинки выглядела изможденной и очень красивой, и я решил, что мне удалось вернуть ее. Я сказал, что пойду побреюсь, а потом мы позавтракаем.

Я брился, а Пинки в это время говорила по телефону. Когда я вышел из ванной, она уже нарядилась и надела пальто и очки. «Я хочу поцеловать тебя», — сказала она. Потом Пинки ушла. У дверей квартиры я обнаружил две бутылки молока и две газеты. С верхней страницы на меня смотрел огромный заголовок:

ВОЙНА В ЕВРОПЕ ОКОНЧЕНА

Больше незачем было по утрам подниматься с постели.

Начиная с 1955 года журнал «Life» и Международный пресс-клуб Америки ежегодно вручают Премию Роберта Капы. Медаль присуждается за «лучший фоторепортаж из-за рубежа, потребовавший исключительной храбрости и инициативы». Ниже приводится список фотографов, работавших в традиции Капы и удостоенных этой награды.

1955 Говард Сохурек (Howard Sochurek)

1956 Джон Садовы (John Sadovy)

1957 Премия не вручалась

1958 Пол Брак (Paul Bruck)

1959 Марио Бьясетти (Mario Biasetti)

1960 Юнг Су Квон (Yung Su Kwan)

1961 Премия не вручалась

1962 Петер Демхель (Peter Dehmel)

и Клаус Демхель (Klaus Dehmel)

1963 Ларри Барроуз (Larry Burrows)

1964 Хорст Фаас (Horst Faas)

1965 Ларри Барроуз (Larry Burrows)

1966 Генри Хюэт (Henri Huet)

1967 Дэвид Дуглас Дункан (David Douglas Duncan)
1968 Джон Олсон (John Olson)
1969 Анонимный чешский фотограф (премия
выдана тайно в интересах безопасности
фотографа Джозефа Куделки (Josef Koudelka))
1970 Киоши Савада (Kyoichi Sawada), посмертно
1971 Ларри Барроуз (Larry Burrows), посмертно
1972 Клайв Лимпкин (Clive W. Limpkin)
1973 Дэвид Барнетт (David Burnett),
Рэймонд Депардон (Raymond Depardon)
и Чарльз Герретсен (Charles Gerretsen)
1974 У. Юджин Смит (W. Eugene Smith)
1975 Дирк Халстед (Dirck Halstead)
1976 Катрин Лерой (Catherine Leroy)
1977 Эдди Адамс (Eddie Adams)
1978 Сьюзан Мейселяс (Susan Meiselas)
1979 Кавех Голестан (Kaveh Golestan)
1980 Стив Маккарри (Steve McCurry)
1981 Руди Фрей (Rudi Frey)
1982 Гарри Мэттисон (Harry Mattison)
1983 Джеймс Нахтвей (James Nachtwey)
1984 Джеймс Нахтвей (James Nachtwey)
1985 Питер Магубане (Peter Magubane)
1986 Джеймс Нахтвей (James Nachtwey)
1987 Джанет Нотт (Janet Knott)
1988 Крис Стил-Перкинс (Chris Steele Perkins)

1989 Дэвид Тернли (David Turnley)
1990 Брюс Хэйли (Bruce Haley)
1991 Кристофер Моррис (Christopher Morris)
1992 Люк Делахайе (Luc Delahaye)
1993 Пол Уотсон (Paul Watson)
1994 Джеймс Нахтвей (James Nachtwey)
1995 Энтони Сво (Anthony Suau)
1996 Коррин Дюфка (Corrine Dufka)
1997 Хорст Фаас (Horst Faas)
и Тим Пэйдж (Tim Page) за книгу «Requiem»
1998 Джеймс Нахтвей (James Nachtwey)
1999 Джон Стэнмейер (John Stanmeyer)
2000 Крис Андерсон (Chris Anderson)
2001 Люк Делахайе (Luc Delahaye)
2002 Каролин Коул (Carolyn Cole)
2003 Каролин Коул (Carolyn Cole)
2004 Эшли Гилберстон (Ashley Gilbertson)
2005 Крис Гондрос (Chris Hondros)
2006 Паоло Пеллегрин (Paolo Pellegrin)
2007 Джон Мур (John Moore)
2008 Шол Шварц (Shaul Schwarz)
2009 Халил Хамра (Khalil Hamra)

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ РОБЕРТА КАПЫ

Death in the Making. Photographs by Robert Capa and Gerda Taro. Captions by Robert Capa, translated by Jay Allen. Preface by Jay Allen. Layout by André Kertész. New York: Covici, Friede, 1938.

The Battle of Waterloo Road. Text by Diana Forbes-Robertson. Photographs by Robert Capa. New York: Random House, 1941.

Invasion! Text by Charles C. Wertenbaker. Photographs by Robert Capa. New York: Appleton, Century, 1944.

Slightly Out of Focus. Text and photographs by Robert Capa. New York: Henry Holt, 1947.

A Russian Journal. Text by John Steinbeck. Photographs by Robert Capa. New York: Viking, 1948.

Report on Israel. Text by Irwin Shaw. Photographs by Robert Capa. New York: Simon and Schuster, 1950.

КНИГИ О РОБЕРТЕ КАПЕ

Images of War. Photographs by Robert Capa, with text from his own writings. New York: Grossman, 1964.

Robert Capa. Edited by Cornell Capa and Bhupendra Karia. (ICP Library of Photographers.) New York: Grossman, 1974.

Robert Capa: A Biography. Richard Whelman. New York: Alfred A. Knopf, 1985. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.

Robert Capa: Photographs. Edited by Cornell Capa and Richard Whelan. New York: Alfred A. Knopf, 1985.

Children of War, Children of Peace: Photographs by Robert Capa. Edited by Cornell Capa and Richard Whelan. Boston: Bulfinch Press/Little, Brown, 1991.

Robert Capa: Photographs. Edited by Cornell Capa, Richard Whelan, and Yolanda Cuomo. New York: Aperture, 1996.

Heart of Spain: Robert Capa's Photographs of the Spanish Civil War. Essays by Catherine Coleman, Juan P. Fusi Aizpúrua, and Richard Whelan. New York: Aperture, 1999

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Ричард Уэлан. Роберт Капа</i>	Глава V
5	84
<i>Корнелл Капа. Предисловие</i>	Глава VI
11	90
<i>Ричард Уэлан. Вступительное слово</i>	Глава VII
13	115
Глава I	Глава VIII
25	158
Глава II	Глава IX
31	167
Глава III	Глава X
43	188
Глава IV	Глава XI
69	226
	Глава XII
	235
	Глава XIII
	240
	Глава XIV
	252
	Глава XV
	271
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	273
	БИБЛИОГРАФИЯ
	276

Роберт Капа
СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Переводчик Владимир Шрага.
Редактор Евгения Шрага.
Художественный редактор
Александр Веселов.
Верстка Александра Веселова.
Корректор Анжела Рубцова.
Ретушь и цветокоррекция ООО «Аргус».
Издатель Александр Троицкий.

Подписано в печать 20.09.10.
Формат 60х88/16.
Гарнитура AcademyC.
Бумага Munken Pure. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 35. Тираж 3000 экз.

ООО «Морошка».
Издательство «Клаудберри».
www.klaudberri.ru

Отпечатано в типографии
«Standartų Spaustuvė»,
www.standart.lt,
tel. + 370 5 2167527, Vilnius.